



Игорь Туберман Иерусалимские дневники

+НОВЫЕ ГАРИКИ

ГОСТ 12546-67

КРЕП. 100%

ЕМК.50

Игорь Губерман

**Иерусалимские
дневники (сборник)**

«АСТ»

2013

Губерман И. М.

Иерусалимские дневники (сборник) / И. М. Губерман — «АСТ»,
2013

ISBN 978-5-17-081956-0

В эту книгу Игоря Губермана вошли его шестой и седьмой «Иерусалимские дневники» и еще немного стихов из будущей новой книги – девятого дневника. Писатель рассказывает о главных событиях недавних лет – своих концертах («у меня не шоу-бизнес, а Бернард Шоу-бизнес»), ушедших друзьях, о том, как чуть не стал богатым человеком, о любимой «тещиньке» Лидии Либединской и внезапно напавшей болезни... И ничто не может отучить писателя от шуток.

ISBN 978-5-17-081956-0

© Губерман И. М., 2013

© АСТ, 2013

Содержание

Для тех, кому это интересно	6
Шестой иерусалимский дневник	7
Разговор ангела-хранителя с лирическим героем в день семидесятилетия автора	7
Год Собаки	10
Заметки с дороги	34
Шестой иерусалимский дневник	47
Часть первая	47
Конец ознакомительного фрагмента.	107

Игорь Губерман

Иерусалимские дневники (сборник)

© Губерман И.М., 2013

© ООО «Издательство АСТ», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Для тех, кому это интересно

Очень маленькое предисловие нужно мне для посвящения читателя в нехитрую арифметическую тайну моей лени и разгильдяйства. Издав первый, второй и третий иерусалимские дневники, я решил, что всё-таки более пристойно давать сборникам стихов какое-нибудь название. В результате сложных умственных усилий появились «Закатные гарики» и «Гарики предпоследние» (то есть четвёртый и пятый дневники). После этого мой творческий пыл угас, и в результате перед вами, уважаемый читатель, – шестой и седьмой иерусалимские дневники. Уже, кстати, вышел и восьмой. А в этот сборник я ещё включил и совершенно новые стишки, которые войдут, Бог даст, в только что начатый девятый дневник. Искренне желаю вам получить удовольствие.

Игорь Губерман

Шестой иерусалимский дневник

Tate – с благодарностью за прожитое время

Разговор ангела-хранителя с лирическим героем в день семидесятилетия автора

Герой:

Я бабник, пьяница, повеса,
я никаких святынь не чту,
мой автор вылепил балбеса,
чтоб утолить свою мечту.
А ты? Зачем и почему
ты здесь торчишь, судьбу ругая?

Ангел:

Меня назначили к нему,
меня тошнит от разъебая.

Герой:

А я живу не без приятства,
его лирический герой, —
всё время пьянки, много блядства,
и философствую порой.

Ангел:

А я к нему приставлен свыше,
чтоб дольше жил на свете он —
забавно Богу то, что пишет
болтливый этот мудозвон.

Герой:

Однако пишет он давно,
поэт известный, муз любимец...

Ангел:

Да не поэт он, а гавно,
мошенник, плут и проходимец!
В поэтах есть парфюм эпохи,
у них мечтания и звуки,
поэт рождает в людях вздохи,
а мой дурак – смешки и пуки.

Герой:

Однако жулику и жоху —

зачем Господь дал певчий дух?

Ангел:

Его клюёт всё время в жопу
на мыслях жаренный петух.
Его Сибирь не охладила,
опять бумагу стал марать
и снова принялся, мутила,
херню с помоек собирать.

Герой:

Оставим дурь его в покое,
один интимный есть момент...

Ангел:

Писать о женщинах такое
способен только импотент!

Герой:

На импотента баба злится,
и сразу видно – отчего...

Ангел:

Она всё терпит, ангелица,
она святая у него!

Герой:

Но, говорят, он весельчак,
его гостей от смеха пучит...

Ангел:

В уборной сядет на стульчак
и там чужие шутки учит.
А днём читает и лежит,
бранит евреев, если жарко...
Нет, он пока ещё мужик...

Герой:

Дай Бог, а то ведь бабу жалко.
Но так хулить его нельзя,
твои сужденья угловаты,
его ведь любят все друзья...

Ангел:

Да все они мудаковаты.

Герой:

А утром он задумчив, тих?

Ангел:

И вялый, будто инвалид.

Герой:

Наверно, пишет новый стих...

Ангел:

Или желудок барахлит.
Чужой придёт и не заметит
его присутствие в квартире:
он до обеда – в кабинете,
потом до ужина – в сортире.
А утром ест угрюмо кашку,
сопит, как десять хомяков...

Герой:

Постой, так ты про старикашку!
А молодой он был каков?

Ангел:

Да я с небес недавно спущенный,
и мне уже нехорошо,
а все коллеги предыдущие —
кто спился, кто с ума сошёл.
Недолго ангелы-хранители
могли прожить при этом падле,
теперь больниц небесных жители,
да только вылечатся вряд ли.

Герой:

Сейчас я выпить нам найду,
мне жребий твой прозрачно ясен,
ты, ангел мой, попал в беду,
старик ещё весьма опасен.

Ангел:

Да! То лежит, как пень-колода,
то захуячит, как трамвай,
а я мечусь, ища уroda...

Герой:

Так пить не будешь?

Ангел:

Наливай!

Год Собаки

Кто-то замечательно сказал однажды (кажется, Давид Самойлов), что писатель более всего похож на каракатицу: при каждом раздражении он выпускает из себя чернила. И ничего более точного я о нашем цехе не читал. А так как раздражений у меня хватало в этот год, не грех начать именно с них, поскольку я, как и в иное время, сочинял стихи попутно им, а не по дикому порыву вдохновения.

Начну с того, что я едва не стал богатым человеком. Вдруг из Минусинска донеслась благая весть, что местный водочный завод снабжает Красноярский край не менее чем миллионом в год бутылок с этикетками, где напечатаны мои стишки о пользе выпивки. Пиратские издания не внове для меня: двенадцать книжек, изданных по всей Руси добытчиками лёгких денег, уже много лет пылятся у меня на полках, молчаливо умоляя о возмездии. Когда-то я хотел сыскать этих пиратов, и приятель мой носил эти книжонки к адвокату (я ему в Москву их переправил). Адвокат сперва ужасно оживился и заверил моего приятеля, что сыщет нам немалый гонорар да плюс со штрафом, но уже дня через два упавшим тоном отказался от участия.

– Первые же три, – сказал он грустно и обиженно, – издало общество афганских ветеранов. Если я им позвоню, то жить останется мне только минут сорок, это время, что займёт у них дорога до моей конторы, я прикинул. Поищите более отважного самоубийцу.

Так я и оставил это попечение. Пиратские издания вернулись на мою большую полку и порою даже радуют мой взгляд: ведь выбрали же всё-таки меня, чтоб заработать, – значит, я чего-то стою на капризном книжном рынке. А вот водочный завод! Во-первых, это настоящее признание моей народности, но главное – тираж, ведь миллионами мои стишки ещё не издавались. «Если даже по копейке с этикетки, – радостно горланили приятели на пьянках, – да ещё за много лет, куда ты денешь столько денег?» А как раз мне предстояла длинная гастроль, где Красноярск удачно числился в маршруте. И я задолго до приезда попросил, чтоб местный импресарио сыскал координаты главного владельца этого завода.

Приехав (прилетев, точнее), я немедленно о нём спросил.

– А он сюда из Минусинска уже едет, – сказал мне импресарио, – он так по телефону мне кричал, что ваш поклонник и что счастлив будет ближе познакомиться, приятно было слышать.

– Ну-ну, – буркнул я воинственно и чуть растерянно, такой удачи я не ожидал.

И вечером, за полчаса примерно до начала, в артистическую быстро и уверенно вошёл чуть седоватый, невысокий и отменно симпатичный человек. Он радостно пожал мне руку и сказал:

– Я столько лет мечтаю выпить с вами, сразу же после концерта сядем рядом в ресторане, ладно?

– Нет, не могу с тобой я выпивать, – ответил я с какой-то хамской злобой. Я вообще с большим трудом перехожу на «ты», не знаю, что со мной происходило, очень уж приятным оказался этот человек. – Я засудить тебя на деньги собираюсь.

Его лицо выразило приветливое недоумение.

– За этикетки, – пояснил я тупо. – Кража интеллектуальной собственности.

– Но это ж вам во славу, – удивился он, – реклама же какая! Вы хоть посмотрите.

Он обернулся к здоровенному амбалу с двумя или тремя авоськами в руках. Бутылок оказалось семь сортов с какими-то названиями, явно предназначенными для широких масс трудящихся. Дня через два мы эту водку в небольшой компании распили – кошмарным оказалась она пойлом, но прекрасно и со вкусом были выполнены этикетки со стишками.

– Мне причитается за это гонорар, я в суд подам, – сказал я тоном идиотским и прескверно себя чувствуя.

– Ну в суд, так в суд, – ответил он доброжелательно. – Учтите только, что у нас всё в Минусинске крепко схвачено, ваш адвокат навряд ли и до города доедет.

– Я в Страсбург обращусь, – сказал я злобно и надменно.

Тут он повернулся и ушёл не попрощавшись. Время было начинать, и я собрался тоже. Было мне нехорошо и смутно.

А после выступления он больше не зашёл. Напрасно: я бы напрочь отказался от своих нелепых вожделений, и прекрасно мы бы выпили за глупые мои надежды.

Этикетки под водой горячей быстро отошли, и я все семь привёз с собой в Москву. И позвонил приятелю, который жутко знаменитый адвокат. «Ату их!» – лаконично и решительно ответил он, и этот клич охотничий опять вернул меня в мажорный мир иллюзий. А потом несколько месяцев приятель сочинял исковую бумагу, и ушла она по месту назначения, и вскоре я (поскольку в качестве истца имел право на копию) в Израиле читал ответ суда. Провинциальное крапивное семя оказалось поядрёней, чем столичное. Я веселился, как безумный: этот жалкий суд сибирский отыскал в заяве знаменитого российского сутяги столько чисто юридических ошибок и несообразностей, что впору бы ему сменить профессию. Но этого при встрече я ему не сообщил. А он меня заверил, что нашёл иной, заведомо победный путь к оплате.

Однако же спустя ещё полгода по нечаянной случайности (иначе это не назвать) узнал я, что питейный комбинат, который я собрался разорить, – себя банкротом объявил. Нет, видит Бог, не я тому причиной оказался, но мечта разбогатеть навеки лопнула. И я был даже рад: ну что б я, правду говоря, с такою кучей денег делал?

Я собрался это предисловие писать о злосчастном для меня годе Собаки, но поскольку начал с предыдущего, то и продолжу про гастроль ту по России. В Красноярске я впервые в жизни стоял у памятника моему ровеснику, давнишнему приятелю, художнику Андрею Поздееву. Он умер несколько лет назад, и вот уже отлили его в бронзе – с зонтиком, мольбертом, словно собирался на этюды. Как его травили в этом городе! Как тяжело и самоотверженно он жил, ни разу от своей манеры видеть и раскрашивать не отказавшись! А когда в России непривычным воздухом свободы вдруг запахло, как-то сразу появились почитатели. Умер он, уже известности достигнув, что ничуть его не изменило. Я погладил эту бронзу, с ним здороваясь, отпил из фляжки (сколько же с ним было выпито!) и закурил, нелепо думая, кого ещё мне доведётся видеть уже памятником.

Не прошло и получаса, как я вскрикнул, попросив остановить машину. В перекрестье улиц, величаво сидя в кресле, на прохожих и немного вдаль смотрел бронзовый Войно-Ясенецкий, великий хирург, и он же – епископ Лука. Всего-то года три прожил он в этом городе, хотя за предыдущие шесть лет тюрьмы и ссылки он поколесил изрядно по Красноярскому краю. Даже за Полярным кругом побывав, где был не раз на грани смерти от голода и замерзания. А всему причиной была стойкость: будучи давно уже хирургом и религиозным человеком, он году в двадцатом принял сан священника – не самое удачное для этого время в России. И с тех пор хранил верность Церкви с непреклонной твёрдостью. Он протопопа Аввакума этой твёрдостью напоминал. И все гонения переносил с такой же гордостью и со смирением таким же. Но спасал его талант хирурга. Впрочем, бывший земский врач, не только скальпелем он пользовал больных, но и народными лекарствами, которые ещё не знала или отвергала медицина. И всюду, где он делал операции, висела на стене икона. По легенде, он перед началом операции рисовал йодом крест на теле больного – на месте разреза и, короткую молитву сотворив, лишь после этого пускал в ход скальпель. Какое это впечатление производило на советское начальство того времени, излишне говорить. И в Красноярске был он ссыльным, между прочим, и еженедельно в униженной толпился очереди, чтоб отметиться в комендатуре. Шла уже война, поэтому его и допустили в этот город из посёлка Большая Мурта. И был назначен

этот ссыльнопоселенец главным консультантом всех госпиталей Красноярского края. Непрерывно текли с фронта эшелоны с ранеными, десять тысяч коек насчитывали несколько десятков подопечных ссыльному священнику госпиталей. А он ютился в крохотной, сырой и тёмной комнатухе, бывшем обители дворника. И часто голодал – блатного продовольствия ему не полагалось. И тайком его подкармливали санитарки. А чуть после Сталин снял удавку с шеи Церкви, справедливо рассудив, что в эти времена она полезна для империи, и всюду стали открываться донельзя уже загаженные храмы, и спустя два года хирург Войно-Ясенецкий был уже по совместительству – епископ Красноярский. И в этом облачении сидел теперь он, бронзовый, почти что в центре города.

Что ж, если так пойдёт и дальше, подумал я благодарно, совершенно новыми памятниками обрастёт Россия, возле них экскурсоводы будут загибать истории совсем иные, и года сплошного лихолетья запахнут правдой. Только вряд ли это будет для потомков интересно, вот что жалко. Уже собственные будут у потомков и герои, и мученики.

Весь переезд от Красноярска до Иркутска я в купе почти не заходил: то в тамбуре курил, то в коридоре у окна торчал. Давно уже заметил я, что знаменитые слова мудреца Гилеля («Если не я, то кто? И если не сейчас, то когда?») сполна относятся к выпивке, и в поездках с первой минуты ощущаю эту мудрость как неотложное житейское попечение. Виски я прихлёбывал из чайного стакана и на перекуры в тамбур уносил его с собой. Уж больно памятные за окном текли места. Я к ночи ближе рухнул, обессилив, и наверняка забыл бы напрочь эту половину дня, но обнаружил по возвращении, что я в рубашечном кармане содержал блокнот. В который закорючками (всё неразборчивей от часа к часу они делались) какие-то пометки заносил. Поэтому я приблизительно могу восстановить эту дорогу.

Ну, во-первых, ко мне люди подходили. Как только поезд тронулся, в купе пришла к нам проводница взять билеты. Прочитав мою фамилию, она спросила утвердительно:

– Вы ведь писатель?

– Да, – кивнул я удивлённо.

– Трудная судьба, – сказала она с пафосом осведомлённости.

Тут я расхохотался, чем немедля потерял её расположение. Но по купе соседним она явно это растрезвонила, и три или четыре человека то ходили со мной в тамбур покурить, то вежливо беседовали в коридоре. Их я начисто не помню, но блокнот – свидетель достоверный. Большинство заметок я не разобрал, но по доступным закорючкам часть пути могу восстановить.

Конечно, в Канске я изрядно заколдовался. Сюда в тюрьму нас привезли из лагеря, чтобы наутро перебросить к месту ссылки. Я всю ночь не спал, и дрожь меня трясла, никак не мог поверить, что свободен буду завтра. А когда в автобусе везли нас (девять или десять человек), то и охранники (все четверо) приветливые были, и овчарки обе словно чувствовали в нас уже не эков: не рычали, на загривках шерсть не дыбилась – наверно, запах загнанности, страха и ещё чего-то рабского в нас разом поубавился, а их натаскивали именно на этот запах. Я попросил у одного из конвоиров сигарету, и, протягивая мне её, он снисходительно сказал:

– Что, блядь, волю почувал?

Станция Решоты. Здесь когда-то был один из самых крупных по империи пересыльный лагерь. Тут умер дед моей жены. Знак обреченности своей он на визитной карточке упрямо сохранял в годы уже советской власти: «Граф Борис Дмитриевич Толстой». Много сотен тысяч жизней уткло в никуда сквозь эти Решоты. А стоянка здесь – одна минута, крохотная станция.

Потом есть запись лаконичная: «Что уцелел – Испания». И тут я вспомнил чувство, всю дорогу переполнявшее меня. Куда-то за окно, в унылое пространство это мне хотелось то ли крикнуть, то ли прошептать, что жив я, уцелел, в пространстве этом гиблом побывав, и вот я еду мимо, пью любимый свой напиток и курю, а завтра буду веселить огромный зал стишками

личного изготовления. И про Испанию тогда я вспомнил не случайно. Годом раньше мы с женою Татой были на экскурсии в Испании. И в городе Гранада, убежав на час от нашей группы, мы пошли в усыпальницу короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Там красиво, интересно и величественно – нету слов, но я туда поплёлся не за красотой и интересностью, я утолить свою мечту пришёл туда. Дождавшись, когда рядом не было туристов, я на купол усыпальницы кинул две монеты по шекелю. Чтоб Фердинанд и Изабелла знали, что евреи, некогда навеки изгнанные ими из Испании, – не просто уцелели, но и собственной страной обзавелись. Уверен был я почему-то, что такая весточка до них дойдёт. С похожим чувством я смотрел в Сибири на мелькающий беспмятный простор.

Вот с каким-то я беседовал интеллигентом, почему-то речь о Сахарове шла. Наверняка меня спросил он, был ли я знаком с этим великим человеком. Я давно уже столкнулся с повсеместной убеждённой смешной, что все, с режимом несогласные, друг с другом тесно общались, мыслями делясь и общую отвагу стимулируя. Я сам когда-то огорчён был, от кого-то услышав, что ни Сахаров, ни Солженицын не питали начисто расположения взаимного и не хотели видаться совсем. Но этот собеседник рассказал мне байку дивную. Что будто когда в ссылке в Горьком академик жил, у них с водопроводом что-то приключилось, а не то – с канализацией. И вызвали они знакомого сантехника. Тот повозился, что-то починил, а после сокрушённо сказал Сахарову:

– Больше ничего не сделаю, Андрей Дмитрич, тут надо всю систему поменять.

И будто бы ужасно восхитился академик совпадением с собственными мыслями и на всю квартиру закричал:

– Ты слышишь, Люся?! Даже и Валера полагает, что менять необходимо всю систему!

После этой байки я, скорей всего, и обнаружил, что давно уже весь пепел стряхиваю в виски. Впрочем, он исправно оседал.

А вот тут рядом и стишок. Должно быть, мой, поскольку правлен в паре мест:

В стране серпа и молота
живу и тихо вою,
другие моют золото,
а я и ног не мою.

Все мысли мои – лагерные были, я уверен, только записи уже пошли и вовсе как шифровки. Взором мысленным, изрядно подогретым от количества испитого, я всюду видел трофические язвы бывших зон, особо изобильных в этом крае. А если поточней сказать, употребляя физиков словарь, – те чёрные дыры, сквозь которые навеки утекла значительная, лучшая, поскольку мыслящая и активная, часть российского народонаселения. Нет, я уверен, что в таких высоких терминах не думал я, торча возле окна, но думал я о лагерях, тут едуци, – всё время, неотрывно, словно под гипнозом находясь. Прочитанное всё давало себя знать. Не зря о лагерях так мизерна литература нынче – отравляться знанием о днях вчерашних никому сегодня неохота, я-то просто много раньше отравился.

Подходивших собеседников я вряд ли в эту тему вовлекал, о чём-нибудь пустом и лёгком коротко болтали мы наверняка. А вот и подтверждение в блокноте. О самом рассказчике, наверно, этот диалог (а может быть – расхожий анекдот). Его приятель пригласил в субботу на подлёдную рыбалку.

– Не умею я с-подо льда рыбу ловить, – отказался рассказчик.

– А чего же тут уметь? – настаивал приятель. – Наливай и пей.

Иркутск, Биробиджан, Хабаровск. Я, кстати, в этих поездках ещё и потому тюрьму всё время вспоминал, что снова я часами вынужденно слушал радио. Господи, за что ж такое вешают на уши россиянам! Это бодрое, бездарное, нахрапистое хулиганство я не выражу сло-

вами, но его отравность – безусловна. Где-то около Иркутска (ехали уже мы долго) я даже стишок об этом написал – нескладный, злобный, но по делу:

В России всё отнюдь не глухо,
уже на Данию похоже:
там жертве яд вливали в ухо,
здесь научились делать то же.

В аду, подумал я, одной из пыток-наказаний непременно будет круглосуточное радио, а так как там деления на сутки нет, то – вечное.

С Иркутска сразу и заметно участились разговоры о ползучем и безостановочном нашествии китайцев. Их число уже никак не опускалось ниже миллиона и заметно выросло у энтузиастов этого грядущего порабощения. И многие из этих натекающих пришельцев благодаря феноменальному, забытому в России трудолюбию уже достигли процветания. Что раздражает, как известно, россиян куда сильнее, чем любые недостатки в личном облике. И ещё одна забавная услышалась мне нота – услышать такое от хотя и местного, однако же еврея, я никак не ожидал. Но очень, очень пожилой мой соплеменник удручённо мне поведал, горестно стуча ладонью о худую грудь в районе сердца:

– Вы меня в квасном патриотизме ведь никак не заподозрите, ведь правда? Но когда я вижу, как китаец со своим товаром к нам на городской приходит рынок, а тележку с этим его грузом позади него везёт наш русский алкоголик, у меня вот тут вот делается горько!

То, как он выговаривал букву «р», делало эту печаль особенно впечатляющей.

В Хабаровске я прямо с самолёта забран был раввином местным, чтобы выступить перед еврейской общиной города. А по дороге этот симпатичный молодой раввин, чтоб как-то учинить беседу с чужеродным пришлым фраером, изысканно спросил меня:

– О вас, наверно, много пишут? И уже давно, наверно?

О, как давно, подумал я сентиментально и блаженно. В сентябре шестидесятого в «Московском комсомольце» был мерзкий фельетон «Жрецы помойки номер восемь». Посвящался он художнику Оскару Рабину, одна из его картин так называлась – «Помойка номер восемь», дивная была работа и наверняка в музее где-нибудь сейчас висит, а в фельетоне – дикому подверглась поношению. А вместе с ней – и те ничтожные людишки, что по воскресеньям ездили к Оскару в Лианозово. Там обо мне были прекрасные слова, я помню их и буду вечно помнить: «Этот деятель, дутый, как пустой бочонок, надменный и самовлюблённый, не умеющий толком связать двух слов, тоже мечтает о всеобщем признании».

А вслух я в это время говорил:

– Да, пишут иногда с недавних пор. По большей части всё доброжелательно.

А после выступления я выпил водки с шумными и полнокровными евреями разных лет и вышел, чтобы ехать на ночлег. А у дверей на улице меня ждал молодой мужчина с хилой разnochинской бородёнкой, молча мне вручивший лист бумаги, а затем негромко попросивший, чтобы я его письмо в гостинице прочёл. Это было вежливое приглашение на завтрашний обед, если найдётся время. Автор был в таком восторге от книжки Саша Окуня «О вкусной и здоровой жизни», что хотел меня порадовать (как этой книжицы соавтора) фазаном с запечёнными внутри него дарами уссурийской тайги. Тут передо мной мелькнула тень Дерсу Узала (и тут же – комиссара Левинсона из «Разгрома») – отказаться было невозможно. Я наутро позвонил, сказал, что часа два свободно можно выкроить, но есть такая закавыка – нас довольно много: две устроительницы моего концерта, импресарио, приехавший со мной, а также и водитель, не торчать же ему это время за баранкой. Ничего страшного, успокоил меня приглашатель, у меня здесь тоже некая накладка: не сумел найти фазана, будет изумительный сазан, начинка та же.

Мы приехали в небольшую квартиру, где начальная закуска с выпивкой были расставлены на подоконнике – стола там не было. Три сорта водки были настояны на каких-то местных травах, пились изумительно легко, а два приятеля, зазвавших нас, и очень оказались симпатичны, и приятно разговорчивы. Так мы толпились возле подоконника, и о сазане не было ни слова. Спихнулся первым я, поскольку до концерта должен был поспать немного, и поэтому минут нам только сорок оставалось. Я невежливо напомнил. Всё готово, успокоили меня хозяйева, вы только на минуту отвернитесь все к окну. Мы послушно отвернулись. Позади нас лёгкое случилось шевеление, и нас позвали обернуться. Посреди комнаты лежала на спине на коврик обнажённая напроць молодая женщина, на животе которой высился таз со скрученной огромной рыбой. Диковинно и как-то неприкаянно смотрелась рядом с ним, пониже, чахлая растительность лобка. И не могу сказать, чтоб это было аппетитно. Я вовсе не ханжа, и уверять в этом читателя мне вовсе ни к чему, но стало мне ужасно дискомфортно. Впрочем, растерялись все, и все это старательно скрывали. А девица изредка на нас поглядывала, что неуютно только добавляло. Так гуляли русские купцы с актёрками, подумал я, но те купали их в шампанском, а про сазана, поедаемого с живота, мне никогда читать не приходилось. Впрочем, делать было нечего, и с возгласами вежливого восхищения мы приступили к трапезе. И вкус-то этой явно вкусной рыбы я не очень ощутил, а фарш из уссурийских трав и ягод мне и вовсе не понравился. Но водка оставалась столь же дивной. А девице не давали ничего, она была подставкой – манекеном. Лёгкое стеснение мы чувствовали даже выйдя и ни словом этот пир не обсудили. Впрочем, все слова благодарности были исправно сказаны, а девушка нас провожала светлым взглядом, ждущим, кажется, аплодисментов. Мы были способны только на «спасибо», «до свидания». Мне картина эта вспоминается порой, и снова ничего, кроме неловкости, она во мне не вызывает. Конечно, есть во всём, что я сейчас пишу, почти что хамская неблагодарность этим симпатичным людям, но ничего поделать не могу: иная выпечка у наших вкусов, до купеческого шика мы уже не дорастём.

А где-то по дороге мы проехали тоннель, никак не отмечаемый глазами пассажиров, но имевший поразительной прекрасности историю – её уже я позже прочитал и был почти готов вернуться в это место. История была из тех кошмарных лет, унесших миллионы жизней: эки некогда построили тоннель этот, как почти всё в здешних краях. В конце тридцатых это было (а не то в сороковых уже? – не записал). С двух концов вгрызались в гору две огромные бригады, пользуясь взрывчаткой, отбойными молотками, остальное всё вручную. Одна бригада из мужского лагеря была, одна – из женского. И хитроумное начальство посулило им неслыханную премию: хоть на день раньше планового срока если выроят тоннель, то время это – ваше полностью, охрана разделять мужчин и женщин, вообще чему-нибудь препятствовать – не будет. На три дня досрочно был пробит этот тоннель. Я не хочу и не могу вообразить чудовищную оргию истощённой жуткой жизнью плоти, но три коротких дня там люди были заново людьми. Благословенна память этих несчастных!

Владивосток меня отменно порастил насыщенным и ясно различимым запахом густого криминала и отсюда – процветания заметного. А так как впереди был Магадан, то я только о нём и думал. Побывать на Колыме по собственной воле и с обратным билетом – истинное счастье для бывалого советского человека. Но время уже начисто размыло, растворило и засыпало следы кошмарного былого этих мест. И то, что двести тысяч эков ежегодно привозили пароходы из бухты Ванино, чтоб в этой мерзлоте они остались навсегда, успев добыть империи урана, олова, вольфрама, кобальта и золота, – звучало глухо и уже не ужасало, будто несколько веков назад это случилось. Но что-то добывали и сейчас, а плюс ещё икра и рыба шли отсюда, и всю погоду местной жизни делали братки блатные, изобильно появившиеся здесь. Роскошная стояла в городе словно вчера возведенная церковь, необузданной отделкой вычурной напоминая храм Василия Блаженного в Москве, но только вход в неё зиял ещё не крашенным цементом, заставляя думать, что внутри она тоже порядком не доделана. Тут оказалась дивная

история, уж не ручаюсь за её фактическую достоверность, но правдоподобие сквозило явное, поскольку так во всей России нынче происходит. Церковь эту якобы замыслил прошлый губернатор. У братков он был в большом авторитете, и поэтому, когда он их призвал немедленно скинуться, чтобы на эти миллионы церковь возвести, они откликнулись охотно и немедленно. Так и возникла эта красота. Но деньги кончились, а губернатора в Москве убили – явно заказное было дело и, естественно, зависло в пустоте. А новый у братков в авторитете не был, и поэтому, когда собрал их, чтобы скинулись ещё, они хотя не возражали вслух, но как-то слитно промолчали. А когда уже к своим машинам расходились, то негромко перекинулись отрывистыми фразами, в которых общий смысл – к давнишней лагерной сводилась поговорка: «Хуй тебе на рыло, чтобы в нос не дуло». Деньги так и не явились.

Покурил я возле здания театра магаданского – тут некогда отменные российские артисты выступали, когда были в рабстве лагерном, и знаменитый Козин пел тут много лет, поскольку не хотел на материк вернуться после освобождения, а нынче и музей открыт в его квартире. Но я по недостатку времени пошёл в музей города.

Как я был прав! Тут охватило меня чувство – следует, наверно, радостью его назвать, но поводом для этой радости такое зрелище служило, что не стану лучше я искать слова, а изложу, что видел. Ни в одном музее по России ещё нет такого, а должно быть – в каждом непременно. В аккуратных выгородках, изнутри обитых чёрной тканью (так обычно золотую утварь древнюю в музеях выставляют) были собраны одежда эков и те инструменты, те орудия труда, с которыми они одолевали мерзлоту и камень. Изношенные, трёпанные, ветхие, прожжённые штаны и ватники соседствовали здесь с лопатами, кирками, ломом и отбойным молотком. Погнутые от долгого употребления (скорее – искорёженные) миски с кружками такой чисто музейной драгоценностью смотрелись тут, как будто археологи на уникально первобытную культуру здесь наткнулись и её предметы быта бережно собрали. Нет у меня слов, да и найти их, очевидно, невозможно. Хотя всё было под стеклом, такой кошмарный запах зоны в зале этом повисал над посетителем, что я недолго тут ходил и вышел потрясённый. У меня и посейчас стоит перед глазами этот зал. Директору музея этого я дал бы высшую награду – премию страны, а что он вынес, пробивая по начальству эту экспозицию, легко себе представить даже без расспросов нетактичных. Сохраняя память о невинно убиенных, мы хоть как-то свои души очищаем, это так банально, что писать об этом мне неловко, только вот никак уразуметь я не могу, как могут этого не понимать – или не чувствовать хотя бы – те, кто управляет памятью России. Впрочем, не моё ведь это дело.

Мне бы про Биробиджан уместнее писать – такое тут количество евреев перебито, из энтузиастов, из поверивших, из эту землю потом поливавших, из таких же, что в Израиле болота осушали почти в то же время. Только здесь, в Биробиджане, ничего не получилось, и убожество сегодняшней тут жизни было мне обидно и давило ощутимо, хотя дивные меня там принимали люди, пусть они мне мои чувства извинят.

И ещё на Магадане услышал я (и прочёл потом) о самой восточной стройке, задуманной усатым гением и уже начавшей осуществляться, – о тоннеле на остров Сахалин. Длиной в одиннадцать километров, он тянуться должен был ниже уровня морского дна, на глубине почти пятьдесят метров. Эдакий российский Ла-Манш. И для бомбардировок он недостижим был бы, что особо веско предусматривал проект – подробность очень яркая для времени борьбы за мир, которой так была увлечена советская империя. И шахту изначальную уже пробить успели до намеченной тоннелю глубины, и был насыпан остров – дамба, чтобы укротить течение, и тьюбинги стальные, девятиметровые в диаметре (как те, которыми тоннели метрополитена выложены) уже начали сюда везти. И сорок тысяч эков здесь уже работало, но как только стратег загнулся, так немедленно затею эту прекратили, очень уж безумен и бессмыслен был проект. А может быть, с рабочей силой были затруднения. Ведь бесчисленные северные стройки с дикой, сумасшедшей скоростью перемалывали поступающих рабов. И недаром

ещё в сорок пятом, за три месяца до окончания войны, когда на Ялтинской конференции уже писался протокол, что каждая из победивших стран возьмёт с Германии, оговорил стратег уса-тый некое диковинное (Средними веками пахнувшее) право для империи советской: использовать немецкое население для восстановления советского народного хозяйства. Во вкусе раб-ского труда он как никто был сведущ в это время. И первые такие лагеря уже возникли, и не военнопленные в них были, а гражданские, прихваченные как попало в разных городах на оккупированной зоне. А потом эта идея как-то незаметно выдохлась и сникла – очевидно, было проще и дешевле набирать рабов из собственных немереных просторов. А году в сорок девя-том – отпустили всех гражданских немцев, кто ещё в живых остался. Думается мне, что доса-ждал Международный Красный Крест, а собственной империи невольники гуманный внеш-ний мир не волновали. Только не хватало их – отсюда и посадки массовые, что пошли в конце сороковых, когда повсюду брали «повторников», то есть некогда уже сидевших, но оплошно выпущенных по окончании срока. Уже нисколько не политика это была, а экономика рабовла-дельческой империи.

В Москве я задержался дня на три-четыре, и случился у меня там дивный лаконичный разговор. Я ехал на какое-то выступление, и к нам в метро (мы ехали с женой товарища, она же – мой московский импресарио) прибавился немолодой сутулый человек с лицом изрядно измождённым. А то ли от духовных воспарений это было, то ли от недавних возлияний, я не разобрался. Мне наскоро шепнула импресарио моя, что он – поэт очень хороший (или бард, уже не помню) и ещё, что у него есть магазин, который его кормит. Но про магазин он очень говорить не любит. Будучи по типу личности нахалом любопытным, я его, конечно же, неза-медлительно и неназойливо спросил:

– А вы, если не тайна, чем торгуете?

– Россию продаю, – ответил он малоприветливо.

Уж тут я упустить своё никак не мог.

– А я слышал и читывал, – сказал я вкрадчиво, – что уже продали Россию.

Тут он откликнулся охотно и немедленно:

– А у меня лавчонка секонд-хенд, вторые руки, – пояснил он пожилому несмышлёнышу.

И стал мне очень симпатичен.

А наавтра я уже летел в Архангельск и попутно побывал в Северодвинске. Этот город многие года был засекречен: тут и база, и строительство подводных лодок, и, как водится, полным-полно технической интеллигенции советской. Очень хорошо там выступалось. А ещё мне предложили задержаться, посуливши покатасть в подводной лодке.

– Из того же поколения, что «Курск»? – спросил я нетактично, но на меня не обиделись.

Что же касается Архангельска, то он отныне навсегда останется у меня в памяти простой и замечательной запиской, присланной из зала:

«Дорогой Игорь Миронович, в нашем крае тоже много лагерей, и если с Вами что слу-чится, будем рады считать Вас нашим земляком».

Я знаю, почему я так отвязно разболтался: очень тяжело мне переноситься в год Собаки, когда резко на меня свалилась неожиданная хворь. Об этом, собственно (хотя о многом и дру-гом), дальнейшие стихи, я потому и предисловие затеял, только всё попутное охота изложить, поскольку забывается уж очень быстро.

А тут ещё история внезапно подвернулась, тихой радостью меня наполнив. У моего прия-теля был дальний родственник, почти они не виделись по жизни, только знали, что такие суще-ствуют. Бенья Фридман (за фамилию, признаться, не ручаюсь, но типичная донельзя и простая). В раннем детстве привезли его родители в Москву из некоего захолустного местечка. Бенья вырос, кончил школу, армию исправно отслужил, а после много-много лет работал на заводе «Серп и молот», в горячем цеху. Таскал он раскалённые отливки, пышущие жаром полосы железа, силы был неимоверной. За стопкой он любил поговорить, но говорил косноязычно,

очень этого стеснялся, и от этого стеснения сгибал и разгибал, бывало, пальцами случайно подвернувшийся пятак. Так он жил и жил, двух дочек маленьких завёл и ощутил – жена, вернее, подтолкнула, – что в одной убогой комнатёнке стало тесно. И пошёл тогда он по начальству, упирая на горячий цех и два десятка лет работы, чтоб ему прибавили жилплощадь. Кто-то из начальства сообщил ему, не удержавшись, что с такой фамилией напрасно будет он ходить до самой пенсии, и Беня глубоко и пламенно обиделся. Характер у него был мягкий, но внешне запно отвердел, и Беня подал заявление на выезд. Отпустили его быстро, на дворе стояло время попустительства (в семидесятых это было). Оказалась вся его семья в Америке, где Беню приняли мгновенно на какой-то небольшой завод – в горячий цех, естественно. Там Бене денежку платили, соответственную цеху, вскоре они дом купили, дочери вырастали уже чистыми американками. И быстро выросли, одна уже сыном обзавелась, а Беня заболел – впервые в жизни – и скончался очень быстро. Вероятнее всего, от удивления, что хворь какая-то ничтожная смогла погнуть его могучий организм. Однако же успел он попросить, чтобы его останки в виде праха – не в Америке захоронили, а в России, где уже давно его родители лежали. Посмертное желание любимого отца с готовностью взяли исполнить дочери. И так в Москве возникли две солидные американские матроны, загодя по телефону разыскавшие своих забытых дальних родственников, и мой приятель взялся их вести на кладбище. Заехав за ними в гостиницу, он был приятно удивлён их благодарной приветливостью, их еле-еле сохранившимся, но различным русским языком и дивной способностью почти в каждую фразу вставлять незатейливую матерщину. Очевидно, Беня выражался дома как в цеху, и дочери считали мат естественным придатком русской речи. Младшая взяла с собой в поездку сына, молчаливый мальчик лет пяти с минуты, как уселся на заднем сиденье, неотрывно играл в какую-то игру на своём мобильном телефоне. Мать даже один раз с раздражением ему сказала:

– Зачем я, блядь, в Москву тебя везла? Ты даже Кремль не повидаешь!

Мальчик на мгновение оставил телефон и послушно посмотрел в окно. Они проезжали здание университета на Ленинских горах. Приятель мой тактично промолчал.

Часа за полтора они доехали до кладбища, но, вылезая из машины, старшая раскрыла молнию на сумке и сказала огорошенно:

– Ебёна мать, мы папу-то забыли!

– В Нью-Йорке? – удивилась младшая.

– В Хуйорке! – огрызнулась старшая. – В гостинице не ту взяла я сумку.

Обе виновато и просительно смотрели на шофёра. Он пожал плечами и уселся за баранку. Пробки на дороге рассосались к тому времени, и съездили они туда-обратно очень быстро. Но зато вся процедура оформления текла отменно хорошо, и сестры почему-то очень веселились. Кто-то их, наверно, испугал, что это будет тягомотно и медлительно. Им даже было весело, когда кладбищенские двое работяг умело стали вымогать ещё двести долларов за выкапывание ямки под урну, хотя была эта нехитрая работа уже только что оплачена в конторе. После они чуть слезу пустили, но немедля вновь заулыбались. А, садясь в машину, старшая сказала:

– Жалко, папа этого не видел, он бы со смеху уссался.

И чем-то жутко симпатичным на меня повеяло от этой бытовой житейской эпопеи. Ты покойся с миром, Беня Фридман, замечательно и с толком прожил ты свою простую жизнь.

Но тут пора и в год Собаки обратиться.

Сейчас пошло естественное время расставаний в нашем оголтелом поколении, и в феврале ушёл из жизни Сева Вильчек. Мы с ним продружили почти сорок лет. Умнее человека в жизни я ещё не повстречал. Нет, я неправильное выбрал слово: ум – понятие практическое, прикладное, Сева Вильчек – мудрым был. Той генетической, наследственной, национальной мудростью, которая так подвела евреев в обезумевшее время, наступившее в России. Сева хоть родился много позже, но и комсомольское, а после и партийное очарование – сполна и бурно пережил. А как очнулся, замечательную книгу написал, вся суть её понятна из названия:

«Прощание с Марксом». Он, разумеется, тайком её писал, и свет она увидела не сразу и не скоро. Говорили мне, что даже в университетах как учебное пособие она читается, а при издании – почти что незамеченной прошла, у всех уже кружились головы от позднего, дозволенного сверху понимания трагедии вчерашней. А после он её переписал, назвал иначе («Алгоритмы истории»), но уже вся жизнь его катилась по пути не письменного творчества. Он был мозговым центром тех каналов телевизионных (НТВ, а после – ТВ-6), которые так поспешили задушить хозяева сегодняшней российской жизни. А ушёл он истинно по-римски. У него такой букет болезней был, что каждая мешала вылечить другую, и выбраться из этого узла врачи не знали как. А Сева уже встать не мог и голову с трудом приподнимал. Тогда жену он снарядил поехать по делам куда-то, санитарку отослал из комнаты своей и дотянулся до ружья, висевшего в ногах возле кровати.

Месяца за три до его смерти мы с ним выпивали, вспоминая, как у него обыск был, когда меня арестовали, и как нам было интересно в те шальные времена. И он рассказывал, как он сейчас, глубокий инвалид, летает непрерывно в Грузию, налаживая (с полного нуля) телеканал по прихоти живущего в Тбилиси олигарха.

Я обязан Севе Вильчеку не только многолетней дружбой, но и многими четверостишиями, сочинёнными в те годы. А точнее – за то время, что читал он мне куски из книги, о которой я уже упоминал. Севино чтение – а слушал я внимательно и напряжённо, потому что многое не сразу понимал, – меня ввергало в странное и благодатное состояние: пассивным вдохновением назвал бы я его, не бойся я высоких оборотов речи. Какие-то отдельные слова меня вдруг властно побуждали записать их на клочке бумаги наскоро, поскольку непреложно ощущал я, что они мне скоро пригодятся для какого-то стишка. А чуть позже – к ночи ближе или утром – непременно вылеплялись новые стишки с записанными этими словами. Как будто суть и соль стишка тянулись к запаху и звуку этих одиноких слов, стремясь обволокнуть их четырьмя строками текста. Да, конечно, выпивали мы в процессе чтения, но очень понемногу, и не эти две-три рюмки так меня прекрасно заводили.

Кстати, Сева сам отменно рифмовал. На его в конце концов вышедшей и подаренной нам с Татой книжке была такая надпись:

Мы теперь с великими на «ты»,
и судьбой дарована отныне
нам взамен публичной немоты —
гласность вопиющего в пустыне.

А даря нам уже третье её издание (полным-полно там было новых идей), он глумливо писал:

Не будь я евреем преклонных годов,
без тени сомнения, братцы,
я русский подвызубить был бы готов,
чтоб в мыслях своих разобраться.

Я от него за годы дружбы услышал настолько много разного и всякого, что до сих пор спохватываюсь изредка: а я откуда это знаю? И немедля вспоминаю, что от Севы. Нет, это касается не только всяческих идей и фактов, но и забавных баек, в Севиных устах звучавших со значительностью притчи. Господи, а сколько их я вставил в мои книжки! И ни разу их происхождение от Севы я не обозначил. Не по свинству дружеского небрежения, а просто это был фольклор, неотличимый от всего, что слышал я от поездных попутчиков, соседей по гостиничному номеру, в бесчисленных застольях тех годов.

А ещё мы очень много спорили. Почти что обо всём, чего касались в разговоре. На стороне Севы были логика и знания незаурядные (не зря дружили с ним отменные философы московские), а на моей – упрямство и нахрап. От острой и парадоксальной точности его суждений много раз я приходил в завистливый восторг. Сейчас, уже давно живя в Израиле, я часто балуюсь нехитрой умственной игрой: смотрю на собеседника, гадая, кем он был бы, уродись он много лет назад в каком-нибудь местечке захудалом. Сева Вильчек – в этом я уверен – был бы идеологом (задатков лидера в нём не было нисколько) какой-нибудь заметно еретической хасидской секты. И его полемика со всеми несогласными достойно бы пополнила талмудическую литературу. Но время ему выпало другое.

Почему-то вспомнил, как однажды Сева мне хвалился. Он был консультантом у какой-то аспирантки, защищавшей диссертацию по социологии, в которой Сева знатоком был выдающимся и признанным. Я почти уверен, что и диссертацию девице написал он сам или легко надиктовал. Уж очень не случайно после состоявшейся защиты прилетел из Тбилиси, чтоб его благодарить, отец этой девицы. Оказался он директором известного «Самтреста» – огромного и знаменитого коньячного производства. И выпить он, конечно же, привёз в достатке. И вот, когда они уже изрядно напились и обсуждали всё на свете, Сева этого коньячного магната сговорил объединить финансы «Самтреста» и самиздата, о котором этому директору напел великую хвалу. От зависти к такой отменной шутке я занудливо сказал:

– Но, Сева, он же об этом забыл уже завтра!

– Да забыл, конечно, – Сева продолжал сиять и улыбаться, – только главное, что я его уговорил!

И до сих пор я помню потрясение своё, когда от Севы услышал идею, навсегда определившую мой взгляд на всё происходящее в России много раньше и совсем теперь. Все неурядицы и все горести российские, сказал мне Сева, происходят оттого, что многие века Россия существует как колониальная страна, сама же у себя в порабощении. Хозяева российской жизни к ней относятся как к некоему завоёванному пространству, почитая соплеменников своих как бы туземным покорённым населением. Отсюда – небрежение полнейшее, грабёж, насилие, бесправие и прочие бесчисленные прелести колониального владения. Настолько это объясняло прошлое и настоящее России, что и сегодня этот взгляд мне высветляет многое происходящее.

А позже чуть, когда уже в Сибири остужал я свой кипучий оптимизм, мы с Севой продолжали наши споры: он – единственный, кому писал я длинно и серьёзно. Интересно, Сева, мы ещё увидимся с тобой? Мне очень бы хотелось.

А весной поехал я в гастролы по Германии. Круглым путём поехал, по дороге залетев в Баку. Одна прекрасная супружеская пара (я в их симпатичности уже на месте убедился не без радости) решила именно в Баку отпраздновать свою серебряную свадьбу. Глава этой семьи писал четверостишия, в силу чего меня своим коллегой почитал, и один из его друзей решил меня преподнести живым подарком на затейный этот праздник. Я, чуть покобеньясь, согласился. И ничуть потом не пожалел. А так как я сюрпризом был, то накануне целый день таился в своём номере гостиницы, куда мне приносили пить и есть, чтоб я не обозначился до срока. А потом я прятался за дверью, как пресловутый рояль – в кустах, и появился на условленных словах ведущего. Со вкусом это было сделано, и мне там было очень хорошо. К тому же выступал я в замечательной компании – бакинские соратники по бизнесу поставили на это торжество своих артистов: первый зажигал большие факелы и тут же глубоко засовывал себе их в горло, а второй недвижно и с невозмутимостью стоял, босой, на остриях больших и устрашающих ножей. И получился настоящий праздник.

В Германии шестнадцать городов мне предстояло посетить, меня это нисколько не пугало. По точному созвучию с названием рабочих, нанимаемых из-за границы, я себе и мне подобным изобрёл давно уже именование – гастрольбайтер. Тем более что у меня, порою думал

я, чтоб дух свой поддержать, – не просто шоу-бизнес, у меня с игрой ума, у меня – Бернард Шоу-бизнес. Я люблю свои вояжи потому ещё, что многое попутно вижу. Но уже болезнь моя развилась, очевидно, я всё время слабосильство ощущал, отлёживаясь вместо беготни, которую себе наметил. Я в Мюнхене в музей не выбрался, а в Нюрнберге не покурил возле любимого мной здания, где некогда творился знаменитый тот процесс над видными фашистскими убийцами. Меня там каждый раз одна мечта одолевает: если бы такой же был в России, вся её дальнейшая история светлей была бы несравненно. Не собрался.

В Хемнице (по-моему, не записал я город, раздолбай ленивый) чудное преподнесли мне назидание. После концерта подошла ко мне старушка и застенчиво сказала:

– Игорь, я совсем вас поучать не собираюсь, но вы слишком часто упрощённый путь предпочитаете.

– О чём вы? – спросил я вежливо и сухо, сразу же поняв, о чём сейчас мне скажут далеко не в первый раз. Однако же услышал небанальный вариант.

– У меня был знакомый поэт, – пояснила старушка, – он однажды написал четверостишие, которое вам всё и сразу объяснит.

И чуть зардевшись, прочитала:

Я раньше славил поцелуй,
сиянье глаз, души томление,
потом заметил: скажешь «хуй»,
и сразу в зале оживление.

Я искренне сказал своё спасибо и заверил собеседницу, что впредь буду удерживать себя от лёгкого пути.

Ещё я услышал одну историю (не помню города), вполне пригодную, чтобы собой украсить по советской психологии учебник. Лет десять (как не более) тому назад посольство Казахстана довело до сведения уехавших оттуда, ныне жителей Германии, сухую и категорическую весть. Отныне Казахстан не признаёт двойного гражданства, и тот, кто хочет оставаться подданным немецким, должен за отказ от казахстанского гражданства уплатить пятьсот марок. Уехало в Германию два с чем-то миллиона человек, из них побольше половины – именно из Казахстана. И покорно принялись платить недавние советские люди. А отец жены моего приятеля спросил у зятя, что он думает об этом. Зять вопросом на вопрос ему ответил: а когда бы объявили, что ты должен левое яйцо послать в посольство, – ты послал бы? Хотят они лишить нас казахстанского гражданства – пусть лишают, почему за это мы ещё должны платить? Но здравомыслие такое считанные проявили единицы, и могучий денежный поток от сохранивших старое советское покорство – оправдал эту мудрую аферу, детище чьего-то тонкого ума.

И навсегда теперь запомню город Аугсбург. Я был там впервые, поэтому накрепко взял себя в руки и поплёлся в местный, очень древний собор. И был вознаграждён: там два таких портрета кисти Лукаса Кранаха Старшего висели по бокам алтарной части, что изменил я своему всегдашнему пижонскому пренебрежению и закупил две репродукции – открытки. И заодно поймал себя на искреннем поползновении мошенника – в этих непуганых краях царило полное доверие: ты брал открытки и кидал их стоимость в коробочку, приставленную сбоку. Так что мог и не кидать. И я желание не тратить свою мелочь испытал настолько острое, что очень взвеселился. А в соборе этом некогда служил – подумать только! – сам великий Лютер, и была даже его мемориальная комната со множеством причиндалов, пару мелких из которых можно было стибрить запросто. И я это влечение своим нутром старьевщика немедля тоже ощутил. Ну, словом, это был прекрасный час самопознания. А возле входа в тот собор висела за стеклом картина местного (и современного) какого-то не чересчур умелого художника. Сперва я мимо пробежал, но, уходя, – всмотрелся повнимательней, и так мне стало хорошо, что я

там сигареты три, наверно, выкурил, усердно изучая это творчество. Там явно был изображён читальный зал: на фоне книжных стеллажей столы теснились, а за ними разные сидели люди. Впрочем, и стояли несколько. И тётка шла в очках, по виду – явная библиотечка. А ближе всех сидел, и цветом выделялся, и других был покрупней – прекрасно узнаваемый Мартин Лютер. Я присмотрелся к остальным, и радость несусветная меня постигла: это вовсе были не читатели, а мои великие коллеги из веков и стран различных. Рядом с Лютером, сверкая маленькими яростными глазками, сидел сам Лев Толстой в одноимённого названия рубашке. И Мольер там был, и был Шекспир, Хемингуэя я узнал (хотя и без гарантии), и Чехов там поблёскивал пенсне, стоял Сервантес, а неопознанных десятка полтора давали полную свободу для догадок. Этой выдающейся картиной Лютер как бы зачислялся в ряд великих сочинителей, теперь уж с этим не поспоришь.

В силу перечисленного выше я в весьма прекрасном настроении вернулся в мой ночлежный номер, и теперь последнее, из-за чего я навсегда запомню город Аугсбург. Заранее простите мне распахнутую эту, мало аппетитную подробность, но я ведь вознамерился открыто всё назвать и объяснить. Пойдя в уборную, уже сливать собравшись воду, оглянулся я вполне случайно (у меня такой привычки нету) вниз на унитаз – и обнаружил кровь. И весь остаток дня уже с тоскою думал о врачах, к которым мне теперь ходить придётся, об анализах докучных (я к тому же их боюсь безумно) и о прочих, мало симпатичных перспективах. И не сбылось предвестие удачности гастролей, хотя было явное. Ко мне, когда я только что вошёл в аэропорт, кинулся упитанный немолодой еврей, восторженно забормотав прекрасные слова:

– Игорь Миронович, вы не можете меня не помнить, я вам года три назад звонил из Тель-Авива!

И засмеялся я тогда, и с радостью подумал, что гастроли начинаются отменно – значит, так оно и будет до конца. Но не сбылось. О крови я забыть уже не мог, она мне каждый день теперь напоминала о себе, но каждодневность выступлений-переездов целиком и начисто заглатывает всё, что не относится к гастролям. А ещё я помню, как стоял в тамбуре какого-то очередного поезда, смотрел на маленький экран, где отмечалась скорость и ближайший город, и о давнем-давнем прошлом вспоминал. Я первую издал когда-то книжку (тонкую, верней, брошюру), из моей прямой профессии истёкшую, – «Локомотивы настоящего и будущего». А там я, в частности, писал (не сам придумал, вычитал в журнале), что в Германии и Франции уже вот-вот наладят поезда со скоростью до километров двести в час. Шестидесятый с небольшим тогда был год, и мне редактор эту перспективу резко вычеркнул. Во-первых, это явная фантастика, сказал он мне, а во-вторых и главных – не фига пропагандировать мифический успех отсталой иностранной техники. А на спидометре экранном ярко проступала цифра скорости на данную минуту – двести восемьдесят километров. И я вздохнул, стараясь более не вспоминать о горестях своих тогдашних дней счастливых.

Мелькали города. Я простодушно радуюсь уже который год, когда я вижу многолюдный зал. В том, что ходят меня слушать, есть какая-то таинственная, чисто витаминная подпитка чувству, что живу оправданной и полноценной жизнью. И ни к гонорарам, ни к гордыне эта радость не имеет отношения. Не силой же их гонят в этот зал. Я часто вспоминаю дивные слова какого-то прожжённого и явно пожилого (с несомненностью – еврея) театрального директора: «А если зритель не идёт, его не остановишь».

Я в Кёльне жил не в городе самом, а в получасе от него езды, у давних замечательных приятелей. Хозяин дома был проктолог с многолетним опытом, и мне было бы уместно у него спросить про эту кровь, но мы так изобильно и прекрасно пили виски, что мне это и в голову ни разу не пришло.

А в Дюссельдорфе чисто театральная произошла со мной накладка. Шло уже к концу первое отделение, когда вдруг в задней правой части зала громко засмеялись несколько десятков зрителей. А ничего смешного я не говорил и вроде глупости не отморозил никакой – тогда бы

засмеялись все, и я, недоуменно туда глянув, продолжал крутить свою программу. Выяснилось всё в антракте. У какой-то женщины зазвонил в сумочке мобильный телефон, она поспешно вынула его и сказала, голоса не рассчитав и всем соседям слышно:

– Я сейчас не могу с тобой разговаривать, я сижу на Губермане.

В маленьком немецком городе Росток и вовсе я душой воспрянул: всего два выступления осталось. Там наутро перед поездом в Ганновер меня взяли покатай по городу две новые знакомки. И уже в соборе местном на огромные часы, шестой (или седьмой) век идущие без остановки и ремонта, поглазел я тупо и почтительно, когда внезапно у меня звонок раздался на мобильном телефоне. Год Собаки о себе напоминал весомо и угрюмо: умерла в Москве моя тёща, Лидия Борисовна Либединская. И через час уже в Берлин я ехал, чтобы там в Россию визу получить, и утром был в Москве, жена чуть позже прилетела.

Мне писать о Лидии Борисовне и тяжело, и странно, потому что более чем сорок лет был рядом я с уникально сложным человеком. В ней сочетались властность и покладистость, невероятный эгоизм – с распахнутым доброжелательством и щедростью, способность к светскому поверхностному трёпу – с мудрым пониманием людей и ситуаций. Ну, а главное, конечно, – яркая, глубинная, острейшая (животная, сказал бы я для точности) любовь к жизни – в её крупных и мельчайших проявлениях. Гостевальные её застолья будет ещё долго помнить множество людей. А как она для этого нещадно применяла своих дочек, а потом и внушек – сразу же забылось дочками и внучками, осталось только обожание и восхищение. Какое дикое количество ничтожных мелочей она приобретала, будучи у нас в Израиле (недаром было сказано, что ходит она здесь со скоростью сто шекелей в час), и как она потом раздаривала это! С какими яркими и интересными людьми она дружила – трудно перечислить, и они её любили, что меня порою поражало, потому что личности такие – мало склонны к близости сердечной. А со своим старением борясь, поскольку жизнь от этого тускнела и скудела, тёща делала усилия невозможные. Так, она где-то прочитала, что кроссворды помогают сохранить память и отдалают склероз, и два-три часа в день она разгадывала кроссворды, радуясь по-детски, если почти всё одолевала. И непрерывные её повсюду выступления, и путешествия далёкие («Пока можешь ходить, надо ездить», – говорила она) уже не только жажду полнокровной жизни утоляли, но и были вызовом дряхлению. Она и умерла, вернувшись накануне из Сицилии. Как праведница умерла – спокойно и мгновенно, не проснувшись. С изумлением сказал я в эти дни кошунство некое: мол, надо много в этой жизни с удовольствием грешить, чтоб умереть как праведник, – и это было точно в отношении Лидии Борисовны. А, впрочем, грех – понятие настолько непонятное и относительное очень, что касаться этой части её жизни просто ни к чему.

И была ещё одна черта у тёщи – знак отменной человеческой породы, я никак не мог найти ей точное определение и вдруг наткнулся в повести у Виктора Конецкого:

«Человеческое изящество... Этакое сложное и тончайшее качество, когда есть аристократичность повадки, но безо всякого высокомерия, и есть полнейшая демократичность без тени панибратства».

Она осталась в памяти моей обрывками случайных разговоров и поступками, которые забыть нельзя. Я в самолёте вспоминал какие-то смешные её реплики – чуть позже изложил я это вслух на многолюдных поминках, тёщу бы порадовало это гостевание и то, что над столами смех висел, а не уныние торжественной печали.

Как-то у неё в гостях на кухне (где по стенам триста досок расписных висят, не повторяясь по рисунку) сидел Витя Шендерович, и в застольном трёпе я ему сказал, что у меня и тёщи нет его последних книг.

– Как же вы живёте? – театрально изумился Витя. – Что читаете?

– Пушкиным пробавляемся, – елейно пояснила тёща.

Её не меньшего калибра фразами закончил я мои три книги баек и воспоминаний, только тут важнее рассказать о нескольких её поступках, благодарно мной хранимых в памяти.

Когда меня посадили, Тата сразу и естественно кинулась к матери. Не ясно было, как себя вести: посажен я ведь был по делу уголовному – как будто бы скупал я краденую живопись (к тому же – не простую, а иконы), только одновременно понятно было, что исходит дело от Лубянки. И чекист-посланец после моего ареста сразу повстречался с Лидией Борисовной, открыто упредив, что только полное молчание семьи – залог моей сохранности и наказания некрупного. Попытка тётки посоветоваться с близкими друзьями тоже принесла полярный результат. Давид Самойлов сдержанно сказал, что, в государстве проживая, надо соблюдать его законы, то есть всё, что совершалось, следовало вынести покорно и молчком. А мудрый столь же (и по жизни тихий) Соломон Апт сказал с горячностью, ему несвойственной, что все подлейшие дела творятся в тишине, молчать не следует ни в коем случае. И Тата, не колеблясь, выбрала второе – хоть и несравненно более опасное, но столь же и достойное решение. И тётка с этим боязливо согласилась. Большую роль ещё сыграло то, что познакомилась она с семьёй моих друзей Браиловских (делали они журнал «Евреи в СССР», а на него и шла охота) – в человеках Лидия Борисовна отменно разбиралась. Навсегда остались они ей любимыми и близкими людьми.

Только раз она сорвалась и в сердцах сказала Тате:

– Почему ты не скандалила, чтоб он икон не собирал? Придаться было б не к чему!

И тут же спохватилась:

– Икон не собирать, стихов не писать – совсем тогда другая жизнь была бы... Уж такой он есть.

В Сибирь она к нам приезжала каждое лето. И сколько водки было выпито, настоящей на кедровых орехах!

А каждый год (и много лет) седьмого января устраивала тётка ёлку. Думаю, что приключись какой тайфун или трясение земли – не отменилась бы та памятная ёлка. Что в восторге были дети (двадцать – минимум), так это ясно, только с ними неуклонно и восторженно сюда же приплетались их родители – в количестве заметно большем. Всем детям приносил подарки Дед Мороз, потом их загоняли в самую большую комнату – беситесь, как хотите. Уверен я, что, выросши с тех пор, те дети помнят сладостное чувство полной (и неповторимой при взрослении) свободы. А в соседней комнате с таким же детским упоением гуляли взрослые. Был даже случай, когда папа без ребёночка приехал: сын наказан за проступок, объяснил смущённо папа, только я такого праздника никак не мог лишиться. Но теперь – зачем и почему я это вспоминаю. Много лет я был там Дед Мороз. А все пять лет, что я в Сибири прохладился, – отменён был по указу тётки Дед Мороз, и детям попросту подарки раздавали, объясняя, что сейчас ужасно далеко и неотложно занят Дед Мороз, но шлёт привет и обещает скоро обязательно приехать. А пока что – пожелаем и ему, и всей его семье здоровья и терпения – уже для взрослых добавлялось за столом. Такое, согласитесь, человек забыть не может.

Как она любила всякое удачное и подвернувшееся вовремя враньё! Изрядно и сама при-сочиняла, украшая полинялую реальность, и охотно поощряла в этом остальных. В моей коллекции был замечательный старушечий портрет начала девятнадцатого века. Чудом уцелел он, когда всё у нас конфисковали, и, вернувшись из Сибири, я хотел его повесить. Тата непри-вычно резко запретила это делать. «У старухи этой – злобное лицо, – сказала она мне, – это старуха нам накликала беду, я не хочу всё время её видеть в нашем доме». И портрет я тётке подарил. Он дивно уместился на стене среди других полотен и рисунков, даже и лицом старуха явно подобрела. Мне обидно было, что такая историческая вещь висит без никакой истории, и я придумал миф. Вполне правдоподобный, кстати. Посмотрел я генеалогическое дерево Льва Толстого (тётка ему дальней, но потомницей была) и отыскал дворянку (кажется, Щетинину – лень уточнять), которая по времени как раз портрету подходила. О своей находке рассказал

я тётце, тётца посмеялась одобрительно и как бы всё это забыла. Но однажды был у неё пир, и очень сведущие люди там сидели, а меня отправили на кухню им готовить кофе. Очевидно, я его сварил быстрее, чем рассчитывала тётца, потому что, когда я вернулся, она плавно и вальяжно говорила:

– А портрет этой Щетининой, моей далёкой пра-пра-пра, – он издавна у нас в семье хранится, чистая семейная реликвия.

И тон её ничуть не изменился, когда я вошёл, и я, известный правдолюб и сам не враль нисколько (тех, кто меня знает, попрошу не улыбаться), – никакого ущемления души не испытал. А после в интервью каком-то (Лидия Борисовна давала их несметно) прочитал я и развитие истории. Что будто тётца, будучи по крайней младости врагом замшелой старины, портрет этот когда-то выбросила даже, но ее отец, с работы возвратясь, безмерно огорчился, на помойку кинулся стремглав, а там лежала эта предка оскорблённая, никто не покусился на неё. Теперь я знаю, как творятся родословные литературные легенды.

И нету её больше. Интересно, что на панихиде (и поминках тоже) большинство из выступавших говорили о её достоинствах гораздо меньше, чем о собственной осиротелости и как бы опустелости существования в связи с её уходом. А все-все слабости её несчётные – растаяли мгновенно и бесследно, лишь любовь и восхищение остались в памяти у всех.

А под каким её жестоким обаянием (в чисто гипнотическом значении этого слова) мы жили, близкие, могу я на простом примере рассказать, из собственного опыта давнишнего. Когда в конце восьмидесятых свежим воздухом запахло и железный занавес растаял, разом поднялись, собравшись уезжать, отказники семидесятых. Я на их вопросы – ты чего же медлишь? – только смутно и невразумительно мемекал, что пишу роман, мол, и со стариками нужно мне ещё немного пообщаться, лагерных историй подсобрать. Я врал: уже написан был роман «Штрихи к портрету», но уехать я не мог, торчал я, словно жук на булавке, собственным приколот обещанием. Мы после ссылки жили всей семьёй у тётчи, что-нибудь с полгода это длилось. И однажды утром, за совместным завтраком изрядно засидевшись (дети уже в школе были), мы заговорили об отъездах. Лидия Борисовна сказала вдруг спокойно и обыденно:

– А кстати, Игорь, я давно уже хотела вам сказать, что если вы уедете, то я приму снотворные таблетки, я давно их припасла.

Беспомощно взглянув на Тату, ни секунды не помедлив, я ответил коротко и просто:

– Я вам обещаю, тётцинька.

И мы продолжили пустяшный разговор о чём-то, больше к этой теме никогда не возвращаясь. Года два спустя советской властью был разрублен этот узел: нам было вежливо, но настоятельно предложено уехать. Ни слова не сказав (уж тут судьбой запахло), Лидия Борисовна нам подписала в те года необходимую бумагу, что она не возражает. Как сейчас, я помню этот день, поскольку сохранилось от него одно прекрасное материальное свидетельство характера моей любимой тётчи. Молча шли мы с ней в нотариальную контору, чтобы заверить подпись на бумаге: я терзался ощущением вины, а тётца думала о чём-то. Мы вошли в большой замызганный двор, ища вход в контору, и вдруг Лидия Борисовна сказала:

– Игорь, посмотрите, вон в углу помойка, там лежит какой-то абажур.

В иное время я и сам бы абажур этот заметил, обожаю я помойные находки, просто ничего тогда вокруг не видело моё расстроенное зрение. И целый час ещё, как не поболее, хмурая конторская очередь с недоуменным осуждением рассматривала наши радостные лица. И уже почти что двадцать лет венчает этот абажур почтенный бронзовый торшер в квартире тётчи.

А кого она действительно любила, для меня загадкой остаётся. Герцена, скорей всего. И знала о нём всё, что можно было вызнать из монблана напечатанных материалов. И, наверно, декабристов, о которых она столько знала, будто современницей была. Когда короткие воспоминания о ней прислал из Кёльна её давний приятель, прозаик Владимир Порудоминский, прочитал я там историю, в которой гениально всё сказал о тётце некий совершенно неизвест-

ный человек. Порудоминский с тещей выступали как-то в некоем украинском городке, где была усадьба одного из декабристов и где многие из них бывали, и отменный памятник им там поставлен, теща очень высоко его ценила и часами там сидела на скамейке. А начальство, принимавшее столичных этих выступателей, устраивало выпивки ежевечерне и, на грудь приняв для настроения, украинские им певало песни. Лидия Борисовна старалась ускользнуть с попок этих, и когда её хватились как-то, пояснил один из выпивавших, что она наверняка сидит сейчас у памятника, ей так полюбившегося. И тут-то произнесена была точнейшая о теще фраза:

– К своим ушла.

И лучше об уходе тещи не сказать.

Я на одной из пьянок поминальных (несколько их было) отозвал в другую комнату приятеля-врача и о своём недомогании спросил.

– Кровь розовая, светлая? – осведомился он.

Я подтвердил.

– Ну, значит, это всё неглубоко, – сказал он облегчённо, – только ты не расслабляйся и в Израиле к врачу немедленно иди. Поскольку все эти херни перерождаются довольно быстро.

Так я приблизительно и поступил. В июне я пошёл к врачу, и дивной симпатичности молодая докторша мне вставила – уж не скажу куда – оптический прибор колоноскоп, через который высветился мой кишечник на большом экране. Даже я (с немалым омерзением) мог посмотреть, что происходит у меня внутри.

Спустя всего неделю я услышал некую историю об этом медицинском инструменте. Году примерно в шестьдесят втором начинающий врач Эдик Шифрин (он Божьей милостью хирург, весьма известный) в московской клинике профессора Рыжих (был некогда такой знаменитый проктолог) вставлял этот двусмысленный прибор, исследуя заболевшего тогда поэта Светлова. А так как врач о неприятных ощущениях от этой процедуры знал прекрасно, то заботливо спросил по окончании:

– Вы как, Михаил Аркадьевич?

И царственно Светлов ему ответил:

– Эдик, после того, что между нами было, можешь звать меня на «ты».

А кстати, упомянутый выше профессор Рыжих был славен некой замечательной привычкой: осмотрев больного, он величественно поднимал (вздымал, скорее) указательный палец правой руки и говорил торжественно:

– А палец этот, между прочим, побывал в жопе английской королевы!

И не врал ничуть профессор: в разгар войны его, уже тогда весьма известного проктолога, в бомбардировщике возили в Лондон – консультировать принцессу Елизавету. Королевой она стала много лет спустя, но это для истории не важно.

А внутри меня таилась неожиданная пакость. Я-то опознать её не мог, но понял сразу, что хорошего не надо ждать, поскольку докторша отошла к телефону и быстрым шёпотом поговорила с кем-то. Нашему семейному врачу она звонила, своей и нашей приятельнице, меня сюда отправившей, – мне ясно это было и вполне поэтому понятно, что во мне сыскал колоноскоп (уже, по счастью, вынутый). Покуда длился этот краткий телефонный разговор, успел я две начальных строчки сочинить для грустного высокого стишка: «Колоноскоп, гонец судьбы, принёс дурную весть». Но чем продолжить, я пока не знал и принялся бездумно одеваться. Через полчаса мне был уже вручён диагноз: рак прямой кишки.

Приятельница наша, в тот же вечер к нам зайдя, сказала мне слова, настолько точные при всей их простоте, что как-то глубоко они в меня запали и весьма мне помогли:

– Смотрите, Игорь, это всё не страшно, только вам полгода или год совсем иная жизнь предстоит, и это время надо просто пережить.

И стал я этот срок переживать. А тут как раз приспело время юбилея, переход в восьмой десяток глупо было не отпраздновать: мы с Татой, начисто о подлой хворости забыв, отменный учинили праздник человек на пятьдесят друзей и близких. Вёл юбилей мой сын, и я с приятным чувством ждал сюрпризов. На прошлый юбилей он пригласил девицу, так исполнившую танец живота, что за столами ярким пламенем горели глазки старичков. На этот раз явился фейерверк (гуляли, благо, на большой террасе), и дружно вскрикивали мы при каждом извержении замысловатого и разноцветного огня, испытывая первобытную радость. Ещё сметливый сын задолго обзвонил моих друзей, и мне читались поздравления в стихах и прозе. Мой давний друг Саша Горелик и гостивший у него в Москве Юз Алешковский мне прислали краткое напутствие: «Дай Бог, дорогой Гарик, чтобы ты подольше не становился бедным Йориком». А из посланий зарифмованных я приведу стих Саши Городницкого, поскольку он со щедрым пафосом возвёл меня в борцы-герои, кем я, по счастью, не был никогда. Но стих польстил мне, грех его не напечатать.

Дружно чокнемся, как встарь.
Час свиданья краток.
Убегает календарь
на восьмой десяток.
Но не старится талант
в Игорево тело:
на эстраде он гигант
и гигант в постели.
Много силы, не забудь,
в этом человеке:
он прошёл великий путь
из евреев в эки.
Всемогущее гавно
обличал он гневно,
у него Бородино
было ежедневно.
Погулявший в те года
около барака,
он уехал навсегда
к Пересу с Бараком.
И за это упрекнуть
мы его не вправе:
он прошёл великий путь
от забвенья к славе.
Горьким смехом знаменит
будет он в России,
как сказал антисемит
Николай Васильич.

Очень восхитила меня смелость последней рифмы. Но моя старинная подруга Люся (я уже её с полвека знаю) тоже рифму далеко не слабую нашла. Она мне написала стих от как бы трёх поэтов – Заболоцкого, Ахматовой, Цветаевой, – используя, естественно, их строки, ловко приплетая к ним свои. И я от вот каких пришёл в восторг:

Я стихи написала бы с матом Вам,

но нельзя мне, я Анна Ахматова.

Старый друг Володя Файвишевский длинный стих свой завершил существенным для меня в те дни пожеланием (признаться честно, за столом ни на минуту я не забывал о вдруг свалившейся напасти):

Будут жить твои стишата вечно —
средство от хандры и от тоски;
резюме: желаю я сердечно —
будь здоров до гробовой доски.

А Юлик Ким мне вот что написал:

Как чистокровный полукровка,
скажу тебе в лицо и громко:
в тебе всегда я замечал
явление также двух начал:
слиянье русской, блин, иронии
с еврейской, бляха, широтой!
Пример неслыханной гармонии —
вот что являешь ты собой!
И дальше, ёптыть, будь таким
до самых меа ее эсрим!

Своим ивритом щегольнув (а это пожелание – жить до ста двадцати), Ким давнее во мне затронул чувство: не хочу я и боюсь прожить излишне долго. По моему глубокому убеждению, жить надо до поры, пока ты полноценен и сохранен умственно – не дольше. Только как почувствовать границу? Впрочем, эта тема – начисто чужая дню рождения.

Все много пили, говорили поздравительную чушь, плясали что придётся и с немалым воодушевлением пели множество советских песен. И моя Тата (я с опаской искоса поглядывал) вела себя невозмутимо и со всеми вместе веселилась. Только под конец, когда уже и расходиться начали, безудержно и бурно зарыдала: сорвалась многочасовая выдержка.

Назавтра я покорно обратился к новой предстоящей жизни.

Тут последуют различные подробности, которые чувствительный (и впечатлительный) читатель может пропустить без всякого урона – мне, однако, изложить их интересно и душевно как бы даже нужно. Для начала мою опухоль подвергли облучению из огромной электронной пушки. Более всего она была похожа на слона с подвижным и вращающимся хоботом. От излучения, как объяснили мне врачи, калечатся и погибают раковые клетки, а здоровые – способны оклематься. Весь низ моей спины расчертили разноцветными фломастерами, и эту нарисованную мишень велели по возможности не мыть. И двадцать девять раз, изо дня в день ложился я на некую подставку, и машинный хобот трижды огибал моё распластанное тело, по мишени этой неслышно выстреливая целительным излучением гамма-поля. Я вскорости прознал, что тут же, рядом, в специальной комнате сидят пять физиков, с утра до вечера высчитывая траекторию облучения, чтобы попало под него как можно менее живой здоровой ткани, обречённой пострадать невинно. Только ведь издержки в этих играх неминуемы, и мне изрядно обожгли слизистую оболочку в месте, где недавно побывал колоноскоп. И начались такие боли, что словами их никак не описать. Вернее, это я угрюмо думал, что слова не отыщу, пока однажды вечером в боевике американском (обожаю их под выпивку смотреть) не услышал точнейшую

формулировку. Пожилой матёрый гангстер со злорадством излагал, что будет чувствовать предатель их святого дела, когда будет он отловлен и покаран пулей в зад.

– И тогда, пока не сдохнет, – говорил рассказчик, медленно прихлёбывая виски, – у него такое чувство будет, будто срёт он раскалёнными бритвами.

Я от радости аж вскрикнул и наверняка подпрыгнул бы, но телевизор я смотрел, неловко на бок привалясь: сидеть я к тому времени уже не мог. А впрочем, и ходить я мог не очень, ибо именно такие ощущения испытывал и при ходьбе. И ездить на машине я уже не мог бы, только помогла сообразительность и выручка российских юмористов. Привезли мне два толстенных тома мастеров русского юмора, и я их подложил под обе ягодицы – стала выносимей боль, и можно было снова ездить на сеансы облучения. Забавна здесь моя кретинская наивность: эти муки простодушно полагал я неизбежным следствием лечения, а про снимающие боль снадобья мне врачи не рассказали, считая, очевидно, что нормальный человек и сам про это знает. Какую-то бессмысленную мазь дала мне, правда, медсестра, но боль ничуть не унималась.

Мне очень не хотелось, чтобы о болезни и о мытарствах моих все были осведомлены и говорили мне слова пустые, только властно примешался случай. Когда мы с женой в какой-то третий день хождений по врачам сидели в отделении радиологии (во мне искали метастазы), к нам изящно подпорхнула дама чрезвычайно средних лет, откуда-то знакомая, но смутно и неявно. И с тональностью подружки закадычной у меня спросила, почему я тут сижу.

– А мы с женой гуляем тут, – ответил я невежливо. – Мы утром как позавтракаем, сразу приезжаем погулять сюда немного.

Она мгновенно испарилась, но своё предназначение исполнила немедленно: мне уже завтра начали звонить и выражать сочувственные чувства. Так что затаиться мне не удалось. Но все довольно быстро поняли, что соболезновать жене ещё куда рано, а меня опасно утешать и ободрять, поскольку лучезарно улыбается мерзавец, чем нахально обижает ободрителей. И стал я жить спокойно в этом смысле.

Тут ещё добавить надо, что меня одновременно химией травили: сразу после облучения мне через вену заливали в организм какую-то лекарственную гадость, тоже гибельную для растущих быстро клеток. Только эта химия влияла и на многие другие клетки, и возможные последствия были изложены на специальной бумажке, мне вручённой, – там такое обещали, что рука не поднимается перечислять. По счастью, эти радости не выпали моему организму. Потому, возможно, пощадили меня мерзкие последствия от этого превратного лечения, что я на химии – уже второй раз в жизни был. Когда-то выдумщик Хрущёв вообразил, что всю советскую империю спасёт от загнивания цветущей экономики – промышленность, увязанная с химией. И холуи его развили сумасшествие, подобно кукурузному: повсюду стали строиться заводы всякого химического производства. А туда нужны были рабочие в количестве невероятном, и холуи (а то и сам Никита) всё сообразили гениально: из бесчисленных российских лагерей досрочно стали эков отпускать. Но не домой, а на заводы эти. Называлось это условно-досрочным освобождением с направлением на предприятия большой химии. И я безмерно ликовал, когда из лагеря мне удалось в такого рода ссылку просочиться. Вроде крепостного права это было. Жили химики в построенных для них бараках-общежитиях, но при наличии семьи пускали жить отдельно. Я три года наслаждался там иллюзией почти свободы. При слове «химия» я до сих пор блаженно жмурюсь. Потому она меня и пощадила. Только слабость мне досталась, но её лечил я непрерывным сном – как только удавалось, я валился, отключаясь, как младенец.

Все эти месяцы повсюду Тата ездила со мной и ни на шаг меня не отпускала. Ей наверняка пришлось потяжелее, чем мне, но я, замшелый эгоист, воспринимал это как должное. И лишь чуть позже спохватился, осознав, какую встряску ей пришлось перенести. С достоинством, спокойно – как когда-то в ссылке, посреди холодной и заведомо враждебной непонятности.

А сколько снадобий лекарственных я заглотал за те злосчастные полгода! Один приятель мой когда-то дивно пошутил. Он издавна ходил с большой спортивной сумкой – там и книги помещались, и бумаги, даже продовольствие при случае влезало. И однажды, будучи в присутствии каком-то и оттуда уходя, он эту сумку взять забыл. И был уже у двери окликом насмешливым настигнут:

– Саша, вы оставили у нас свой кошелёк!

Тут мой приятель обернулся и с печальной элегичностью сказал:

– Это не кошелёк, это аптечка.

И повторить его слова по праву мог бы я. Как и слова одной четырёхлетней девочки, внучки моего приятеля другого. Бедную девчушку приводили полечиться от чего-то, и уже на выходе из поликлиники увидела она идущую ко входу сверстницу. И замечательно сказала маленькая гуманистка:

– Девочка, не ходи туда, там доктор!

А после дали отдохнуть мне месяц или полтора, и я довольно быстро оклемался, на что, честно говоря, уже не очень-то рассчитывал. А дальше операция была, и через шесть часов очнулся я, лишась прямой кишки. Уже и Тата была рядом, на меня приветливо смотрела и не плакала. Все шесть часов они с её сестрой сидели возле операционной, изредка пускаясь побродить невдалеке, чтоб как-то скоротать медлительно тянувшееся время. И с радостью я ощутил, что снова жив.

Я многое из этих замечательных переживаний изложил стишками, отчего и предисловие затеял, чтобы понятно было, о какой болезни речь идёт. Сохрани тебя Господь, читатель, от такого опыта житейского.

А между прочим, шесть часов наркоза даром не прошли. Я обнаружил, что читать могу не больше часа в день, и голова была пуста, как сумка вышедшего за продуктами. Явилась мне печальная научная идея, что мыслительные центры человека и его все творческие нервные узлы – располагаются в прямой кишке. И собеседники сочувственно со мною соглашались. Из этого мучительного ступора меня однажды вывела история, наполнившая меня тихой радостью.

Ещё в совсем глухие времена рассказывали старые евреи, что в Войне за независимость Израиля участвовало множество советских офицеров, неизвестно как попавших в Палестину. Даже слышал я такую версию, что это по приказу Сталина туда их завезли – усатый гений будто бы надеялся тогда, что станет это государство чем-то вроде Польши и Болгарии и превратится таким образом в ручной форпост империи советской. Но, как известно, не сбылась его мечта, а про военных этих – не писалось вроде бы нигде, и рассосалась эта интересная легенда. И вдруг с моим приятелем разговорился очень-очень пожилой еврей (какое-то у них там было заседание какого-то совета), который шестьдесят лет назад участвовал в одном безумном, как ему сперва казалось, предприятии. Летом сорок пятого года Бен-Гурион призвал к себе десяток молодых людей, владевших русским языком (хотя бы кое-как, остатки от родителей), и рассказал им некую идею. В побеждённой и разрушенной Германии сейчас сплошной бардак творится, сказал он. И армия российских победителей не по казармам квартирует, а расселена по сохранившимся домам, то есть доступны для общения евреи – офицеры и солдаты, многим из которых некуда после войны вернуться. Ни родни у них, ни дома не осталось в белорусских и украинских городах и местечках, разутюженных нашествием немецким. Если рассказать им, что у нас вот-вот еврейское возникнет государство и что защищать его немедленно придётся, то оживёт у них душа, и многие приехать согласятся. Безумную идею эту выслушав, разъехались посланцы по немецким городам. И оказалось – вовсе не напрасно. Интересно (и ужасно странно), что никто им не мешал и не препятствовал. А особысты всех мастей – наверняка ведь мигом сообщили по начальству, что какие-то сомнительные люди, не скрываясь, всех

расспрашивают о евреях, подбивая найденных уехать в Палестину. Никак такое не могло бы долго в тайне оставаться. Но в ответ на эти все сигналы кто-то очень-очень сверху посоветовал не обращать внимания на палестинских агитаторов. Кто именно – гадать не стоит. Важно только, что несколько сот (до тысячи, сказал старик) евреев-офицеров с незаурядным военным опытом – с великой радостью (и страхом, думаю, не меньшим) согласились ехать в Палестину. А в армейских ведомостях разных записали их, скорей всего, – пропавшими без вести. Вот откуда взялись в армии Израиля танкисты, лётчики, артиллеристы, отменно воевавшие во вскоре разразившейся Войне за независимость. И многие года свирепая печать секретности лежала на прекрасном этом факте, а из каких соображений, горестно сказал старик, сегодня даже непонятно.

Я всегда немалую испытываю радость, натываясь на следы российского еврейства в основании и обустройстве нашего невиданного государства. Легенда это или быть – мне совершенно безразлично. Сама же байка – сколько бы в ней ни было загадочных вопросов – очень освежающе сказалась на моём душевно-умственном затмении. И я её немедленно раззвонил по всем друзьям.

Наверно, все мы (так мне кажется) испытываем удовольствие, когда вдруг повезёт какой-то новый факт или историю в застолье рассказать или приятелям по случаю. И тут нельзя не вспомнить, как когда-то Тоник Эйдельман рассказывал о городе Торжке. Приехал он туда какую-то прочесть заказанную лекцию (а может быть, в архиве покопаться). И к нему, поскольку фраер-то столичный, заглянул в гостиницу сам третий секретарь горкома партии, задвинутый начальством на культуру. Ну, перекинулись они взаимно вежливыми фразами, и секретарь, слегка помявшись, Тоника спросил:

– А вот вопрос у меня к вам, довольно тонкий. Тут у нас в Торжке жила Анна Петровна Керн, и, говорят, у неё с Пушкиным роман был – это правда?

Тоник жутко оживился от такого школьного вопроса и подробно перечислил – от «Я помню чудное мгновенье» до цитат из писем, по которым достоверно выходило, что роман и в самом деле был.

– Спасибо вам за информацию! – сказал с восторгом секретарь и крепко руку Тонику пожал. – Сейчас у нас идёт пленум горкома, я пойду – порадую товарищей.

А тут во мне ещё и тромб явился под коленкой, властно узаконив сильной болью мою лень из дома вылезать. Мне прописали ежедневные уколы, я их взялся делать сам и честно делал. Я сам себе был и больной, и медсестра. Я сам себя колол, потом я сам себя щипал за попку, сам себе сердито говорил: «Прошу без хамства, пациент!» – и тут мы на день расходились. Медсестра растаивала в воздухе, а пациент закуривал и продолжал читать.

А год Собаки ещё длился, истекая. Попадались вдруг и мелкие приятности. Так, позвонил мне незнакомый человек, чтобы сказать спасибо, из Москвы. Пять лет он просидел в тюрьме в Арабских Эмиратах, запёк его туда партнёр по бизнесу, такая бытовая ситуация. И он пять лет читал мои стихи, которые с собой у него были, и они ему немало помогли. Я благодарность эту принял с превеликой радостью. Хоть вообще мне только что докучны всякие хвалебные слова. Тут некогда к нам переехал жить в Израиль очень и в империи известный советский писатель. Почему-то он решил, что я здесь – местный Михалков, в силу чего стал поздравлять меня со всеми праздниками, присовокупляя всякую хвалу. Я свирепел от каждого звонка, но он, по счастью, вскоре выяснил, что Михалковы тут – совсем иные люди, и отстал. А вот мне как-то молодая женщина в антракте на концерте рассказала, что она рожала под мои стихи: ей муж читал их, и она смеялась, отчего гораздо легче были роды, – тут я радость подлинную испытал. И гордость – чувство низкое, но донельзя приятное. Здесь я слегка споткнулся, застеснявшись, но сурово сам себя одёрнул: когда скромничают слишком, это хуже хвастовства, так лучше буду я хвалиться ненароком. Столько человек уже рассказывали мне,

как помогли им некогда мои стишки во время тягостной депрессии, что грех об этом умолчать, а с радостью упомянуть – не грех.

А тут и Юлий Ким перевалил за семьдесят и снова стал моим ровесником. Забавно, что люблю его я так же, как и остальных моих друзей, но не могу преодолеть почтения перед его немыслимым талантом: когда он играет на гитаре и поёт, моя душа изнемогает от блаженства. И я на юбилей послал ему стишок:

Такого мировая вся культура
не видела с тех пор, как родилась:
певучая корейская натура
с российским скоморошеством слилась.
И, новую внеся лихую ноту,
усилив гармоническую ясность,
к изысканному этому компоту
добавилась израильская страстность.
Живи легко и долго, мудрый Ким,
корми коня Пегаса свежим сеном,
и счастье, что родился ты таким,
спасибо, что не стал ты Ким Ир Сеном!

И тут я ощутил, что мне пора бы предисловие заканчивать. Поскольку наступил, по счастью, год Свиньи. Мы Новый год отпраздновали, как всегда, в большой компании друзей, собравшихся у нас, и всем вручал подарки длинноносый Дед Мороз. А что касается Кима-Снегурочки, то в затрапезном пёстреньком халате (под которым две подушки убедительно выказывали грудь) и в лёгкой летней шляпке – чистой она выглядела старой блядью из какого-нибудь порта Сингапур.

И потянулся год Свиньи, неслышно обещая радости выздоровления. Я даже накропал стишок об этом дивном ощущении:

Сошёл на землю год Свиньи,
судьба сулит потечь иной,
и все мечтания мои
житейской станут ветчиной.

Заметно Тата приободрилась и снова стала надо мной подшучивать, чего уже примерно с год по женской жалости не делала. Ко мне в окошко залетел тут как-то голубь и по комнате вполотно заметался. Тата закричала:

– Гони, гони его скорей, а то он на тебя насрёт, как на литературный памятник!

За время, что болел, я перешёл на тихое и незаметное существование. Бурные события кипящей в мире жизни занимают меня мало – я ведь житель прошлого не только века, но тысячелетия. Блаженная старческая лень обволакивает мой тихий закат. Хотя, признаться, я и в молодости был таким же. Вообще, мне кажется уже давно, что человек произошёл от обезьяны, которая во сне свалилась с пальмы, а карабкаться обратно – поленилась. Так что это свойство в нас – глубинное. Я читаю книги, нехотя гуляю по району, мало с кем общаюсь и по вечерам отыскиваю на экране боевик. От беспорядочного чтения во мне уже образовался целый холм мыслительного хлама, с ним я разберусь попозже, чуть потом. А виски нам привозит сын, удачный получился мальчик. Он с женой и дочка наша навещают нас по пятницам, а с ними – трое дивных внучек и отменный внук. Такое эти четверо устраивают в доме, пока взрослые степенно выпивают, – надо видеть, ибо невозможно описать. Я вспоминаю каждый

раз про старого и одинокого еврея, который так сказал в ответ на предложение куда-то переехать в другой город:

– У меня остались в жизни две всего лишь радости: когда ко мне приходят дети и когда они уходят, я без этого никак не проживу.

А про другого старика я вспоминаю с тихой завистью. Ровесник мой (а то и чуть постарше), он – успешный и гонористый художник. И вот однажды после пьянки, на которой он изрядно освежился, посадили собутыльники его в такси, и вежливо спросил водитель:

– Вас куда вести, папаша?

И папаша дивные (по самочувствию) слова ему сказал:

– Вези, куда захочешь, я повсюду нарасхват.

На все звонки, как поправляется моё здоровье, отвечаю фразой, некогда придуманной евреями во времена Христа (одну лишь букву изменив): «Что может быть хорошего из лазарета?» Все сочувственно и понимающе смеются. И про цех наш литераторский отладил я классическую тоже (пушкинскую) строчку: «Альцхаймер близится, а Нобеля всё нет».

Ну, вот и всё, по-моему. А те стишки, что написал я в год Собаки и немного раньше, я недавно все перечитал – они произвели на меня хорошее впечатление. Надеюсь, мы сойдёмся вкусами, читатель.

Заметки с дороги

* * *

Умом Россию не спасти,
она уму не отворяется,
в ней куры начали нести
крутые яйца.

* * *

Месяц ездил я в лязге и хрусте
по струенью стальной колеи,
и пространство пронзительной грусти
остужало надежды мои.

* * *

В чаду российских лихолетий,
когда людей расчеловечили,
то их отнюдь не только плети,
но больше пряники увечили.

* * *

Ездил по российским я просторам,
пил и ел вагонные обеды,
я путями ехал, по которым
ехали на смерть отцы и деды.

* * *

Умельцы на российском карнавале
то с шиком, то втихую за углом
торгуют, как и прежде торговали, —
духовностью и старым барахлом.

* * *

В российской протекающей истории
с её периодической провальностью
тем лучше воплощаются теории,
чем хуже они связаны с реальностью.

* * *

И те, что сидели, и те, что сажали,
хотя и глаза у них были, и уши, —
как Бога-отца, горячо обожали
того, кто калечил их жизни и души.

* * *

Мечте сплотить народ и власть
в России холодно и тяжело,
поскольку меньше врать и красть
никак не может власть-бедняжка.

* * *

С поры кафтанов и лаптей
жива традиция в отчизне:
Россия ест своих детей,
чтобы не мучались от жизни.

* * *

В сегодняшней России есть пустяк,
типичный для империи Востока:
величие возшло тут на костях,
а кости убиенных мстят жестоко.

* * *

Тот факт, что нас Россия не схарчила,
не засушила в лагерную пыль,
по пьянке на глушняк не замочила, —
изрядно фантастическая быль.

* * *

Напрасность всех попыток и усилий
наметить нечто ясное и путное —
похоже, не случайна, и России
полезней и нужнее время смутное.

* * *

Варяги, печенеги и хазары,
умелые в торговом ремесле,
захватывают русские базары
и дико умножаются в числе.

* * *

Орать налево и направо
о пришлых лиц переполнении —
извечно русская забава
в исконно хамском исполнении.

* * *

Что у России нет идеи,
на чём воспитывать внучат,
весьма виновны иудеи,
что затаились и молчат.

* * *

Всё не попад и наобум,
по всей Руси гуляет нелюдь,
а в людях совесть, честь и ум
живут, как щука, рак и лебедь.

* * *

Россия – это всё же царство,
свободный дух пылится зря,
а вольнодумное бунтарство —
лишь поиск доброго царя.

* * *

Гармонь, сарафан и берёза,
а с ветки – поёт соловей;
всей роскоши этой угроза —
незримый повсюдный еврей.

* * *

Тянет русского туриста
полежать на солнце жарящем,
потому что стало мглисто
у начальства под сиденьем.

* * *

Думаю, что в нынешней России
вовсе не исчезла благодать:
Божий дух витает, но бессилен
с мерзостью и мразью совладать.

* * *

Мне кажется, покорное терпение —
не лучшая особенность народа:
сперва оно приводит в отупение,
а после – вырождается порода.

* * *

Я отродясь локтей не грыз,
я трезвый оптимист,
сейчас в России время крыс,
но близок и флейтист.

* * *

А если Русь растормошит
герой, по младости курчавый,
она расстроится, что – жид,
и в сон вернётся величавый.

* * *

Как патриотов понимать?
Уж больно с логикой негладко:
ведь если им Россия – мать,
то красть у матери? Загадка.

* * *

Евреи так укоренились,
вольясь в судьбу Руси затейную,
что матерятся, обленились
и пьют любую дрянь питейную.

* * *

Жили мы в потёмках недоумия,
с радостью дыша самообманом,
нас поила ленинская мумия
дивным, если вдуматься, дурманом.

* * *

Причина имперского краха
проста, как букварная строчка:
лишённая обручей страха,
распалась державная бочка.

* * *

Россия – страна многоликая,
в ней море людей даровитых,
она ещё столь же великая
по части семян ядовитых.

* * *

Любовь к России без взаимности —
весьма еврейское страдание,
но нет уже былой активности,
и хворь пошла на увядание.

* * *

Иные на Руси цветут соцветия,
повсюду перемены и новации,
а я – из очень прошлого столетия,
по сути – из другой цивилизации.

* * *

Где сотни взыгравших козлов
гуляют с утра до потёмок,
там сотни дичайших узлов
распутывать будет потомок.

* * *

Бурлит не хаотически тусовка:
незримая случайным попрошайкам,
активно протекает расфасовка
по гильдиям, сословиям и шайкам.

* * *

Всё это было бы не грустно,
когда бы не было так гнусно.

* * *

Народа российского горе
с уже незапамятных пор —
что пишет он «хуй» на заборе,
ещё не построив забор.

* * *

Мне кажется, российская земля,
ещё не отойдя от мерзлоты,
скучает без конвоя, патруля
и всяческой надзорной сволоты.

* * *

Когда б еврей умел порхать,
фонтан пустив, уйти под воду
или в саду благоухать —
любезен был бы он народу.

* * *

Россию всё же любит Бог:
в ней гены живости упорны,
а там, где Хармс явиться мог,
абсурд и хаос жизнотворны.

* * *

Переживя свободы шок,
Россия вновь душой окрепла,
согрела серый порошок,
и Феликс вмиг восстал из пепла.

* * *

Когда надвигается темень
и тонут мечты в окаянстве,
убийц полустёртые тени
маячат в затихшем пространстве.

* * *

Нет подобного в мире явления,
и диковинней нет ничего:
власть российская – враг населения
и без усталости морит его.

* * *

Люблю Россию чувством непонятым,
с угрюмым за дела её стыдом,
брезгливостью к её родимым пятнам

и болью за испакощенный дом.

* * *

Владеет мыслями моими
недоуменная досада:
народы сами править ими
зовут питомцев зоосада.

* * *

Россия как ни переменчива,
а злоба прежняя кругом,
Россия горестно повенчана
с несуществующим врагом.

* * *

Чем темней и пасмурней закаты
гнусно увядающих эпох,
тем оптимистичнее плакаты
о большой удаче в ловле блох.

* * *

В России нынче правят бал торжественный
три личности: подонок, лгун и вор,
и царственно свирепствует естественный,
но противоестественный отбор.

* * *

Свободы дивный фейерверк
не зря взрывается над нами,
и пусть огонь уже померк,
но искры теплятся годами.

* * *

У всех вождей Руси увеселением
и творчеством у всех до одного —
была война с российским населением
во имя вразумления его.

* * *

Чтобы долю горемычную
без печали принимать,
укрепляют люди личную
веру в Бога, душу, мать.

* * *

В России не закончилась эпоха
предательства и рабского молчания,
порой ещё кричат, но слышно плохо,
а громко – лишь согласное мычание.

* * *

Всегда евреи за свободу
стояли твердо – с целью вредной
внедрять отраву, гнусь и шkodу
в невинный дух России бедной.

* * *

Стирается на время если грань —
условия, критерии, барьеры, —
то сразу же немислимая срань
стремительные делает карьеры.

* * *

С российским начальством контакты
похожи в любой из моментов
на очень интимные акты,
где женская роль – у клиентов.

* * *

Бессильные кремлёвские призывы
припасть к патриотизму как опоре
напрасны, как натужные позывы,
томящие страдальца при запоре.

* * *

Какую бы ни гнали мы волну,
каких ни сочинили наворотов,
никак не скрыть еврейскую вину
в бездарности российских патриотов.

* * *

Кого я ни припомню, все подряд
убийцы – в унисон, как на заказ, —
твердили, что не знали, что творят,
и плакали, что был такой приказ.

* * *

Трепещь как осиновый лист
и проходим кивая приветно,
по России бредёт сионист
и евреев зовёт безответно.

* * *

От юных кудрей и до тягостной
сенильной поры облысения
висит над евреями сладостный
и вязкий соблазн обрусения.

* * *

Такая в ней мечта и пластика,
что, ни за что не извиняясь,
опять вернулась к жизни свастика,
по месту видоизменяясь.

* * *

Пишу я о России без лукавства
и выстудив душевное смятение:
повсюдное цветение мерзавства —
кошмарное, но всё-таки цветение.

* * *

Светлы юнцов тугие лица
с печатью сметки и проворности,
и так духовность в них дымится,
что явно требует соборности.

* * *

Мне кажется – куда я взгляд ни кину,
фортуна так Россию подвела
в отместку, что икону и дубину
строгали здесь из общего ствола.

* * *

России вновь не повезло,
никто не ждал такой напасти:
разнокалиберное зло
опять возшло к вершине власти.

* * *

Мне боль несёт российской жизни эхо
с ожоговым стыдом наполовину;
похоже, из России я уехал,
не смоги перерезать пуповину.

Шестой иерусалимский дневник

Часть первая

* * *

В любой мелькающей эпохе,
везде стуча о стену лбами,
мы были фраеры и лохи,
однако не были жлобами.

* * *

Не то чтобы печален я и грустен,
а просто стали мысли несуразны:
мир личности настолько захолуستن,
что скукой рождены его соблазны.

* * *

Реальность этой жизни так паскудна,
что рвется, изнывая, на куски
душа моя, слепившаяся скудно
из жалости, тревоги и тоски.

* * *

Свободно я орудую ключом
к пустому головы моей сосуду:
едва решу не думать ни о чём,
как тут же лезут мысли отовсюду.

* * *

Накалялся до кровопролития
вечный спор, существует ли Бог,

но божественность акта соития
атеист опровергнуть не мог.

* * *

Мессия вида исполинского
сойдёт на горы и долины,
когда на свадьбе папы римского
раввин откусает свинины.

* * *

Я и откликнувшийся Бог —
вот пара дивных собеседников,
но наш возможный диалог
зашумлен воплями посредников.

* * *

Все мы перед Богом ходим голыми,
а пастух — следит за организмами:
счастье дарит редкими уколами,
а печали — длительными клизмами.

* * *

Людей ничуть я не виню
за удивительное свойство —
плести пугливую хуйню
вокруг любого беспокойства.

* * *

Мне стены комнаты тесны,
сегодня в путь я уложусь,
а завтра встречу три сосны
и в них охотно заблужусь.

* * *

Ушли мечты, погасли грёзы,
усохла роль в житейской драме,
но, как и прежде, рифма «розы»
меня тревожит вечерами.

* * *

Забавно мне: среди ровесников
по ходу мыслей их таинственных —
полно пугливых буревестников
и туча кроликов воинственных.

* * *

С утра душа моя взъерошена,
и, чтоб шуршанье улеглось,
я вспоминаю, что хорошего
вчера мне в жизни удалось.

* * *

Нашёл я для игры себе поляну,
играю с интересом и без фальши:
в далёких городах, куда ни гляну, —
я думаю о тех, кто жил тут раньше.

* * *

Живу не в тоске и рыдании,
а даже почти хорошо,
я кайфа ищу в увядании,
но что-то пока не нашёл.

* * *

А на зовы прелестного искуса
я с отмеченных возрастом пор
то смотрю с отчуждением искоса,
то и вовсе — не вижу в упор.

* * *

Душа моя однажды переселится
в застенчивого тихого стыдливца,
и сущая случится с ним безделица —
он будет выпивать и материться.

* * *

Истории слепые катаклизмы,
хотя следить за ними интересно,
весьма калечат наши организмы —
душевно даже больше, чем телесно.

* * *

В доме моих воспоминаний
нигде — с подвала по чердак —
нет ни терзаний, ни стенаний,
так был безоблачен мудак.

* * *

Я ободрял интеллигенцию,
как песней взбадривают воинство,
я сочинял им индульгенцию
на сохранение достоинства.

* * *

Так часто под загадочностью сфинкса —
в предчувствии, томительном и сладком, —
являлись мне бездушие и свинство,
что стал я подозрителен к загадкам.

* * *

Он оставался ловелас,
когда весь пыл уже пропал,
он клал на девку мутный глаз
и тут же сидя засыпал.

* * *

Кто верил истово и честно,
в конце концов, на ложь ощерясь,
почти всегда и повсеместно
впадал в какую-нибудь ересь.

* * *

Я мучу всех и гибну сам
под распорядок и режим:
не в силах жить я по часам,
особенно — чужим.

* * *

Всё в мире любопытно и забавно,
порой понятно, чаще — не вполне,
а замыслы Творца уж и подавно —
чем дальше, тем загадочнее мне.

* * *

Благодарю, благоговя, —
за смех, за грусть, за свет в окне —
того безвестного еврея,
душа которого во мне.

* * *

Я на сугубо личном случае
имею смелость утверждать,
что бытия благополучие
в душе не селит благодать.

* * *

Ко мне стишки вернулись сами,
чем я тайком весьма горжусь:
мой автор, скрытый небесами,
решил, что я ещё гожусь.

* * *

Забавно мне моё еврейство
как разных сутей совмещение:
игра, привычка, лицедейство,
и редко – самоощущение.

* * *

В жестоких эпохах весьма благотворным
я вижу (в утеху за муки),
что белое – белым, а чёрное – чёрным
узрят равнодушные внуки.

* * *

Все темы в наших разговорах
кипят заведомым пристрастием,
и победить в застольных спорах
возможно только неучастием.

* * *

Сегодня старый сон меня тревожил,
обидой отравив ночной уют:
я умер, но довольно скоро ожил,
а близкие меня не узнают.

* * *

С судьбой не то чтоб я дружил,
но глаз её всегда был точен:
в её побоях (заслужил)
ни разу не было пощёчин.

* * *

Я на гастролях – в роли попугая,
хотя иные вес и габарит:
вот новый город, публика другая,
и попка увлечённо говорит.

* * *

Наше бытовое трепыхание
зря мы свысока браним за водкой,
это благородное дыхание
жизни нашей, зыбкой и короткой.

* * *

А премий – ряд бесчисленный,
но я не награждаем:
мой голос легкомысленный
никем не уважаем.

* * *

Весьма в ходу сейчас эрзацы —
любви, привязанности, чести,
чем умножаются мерзавцы,
легко клубящиеся вместе.

* * *

К долгой славе сделал я шажок,
очень хитрый (ибо не дебил):
новые стихи я с понтом сжёг
и про это всюду раструбил.

* * *

Сопит надежда в кулачке,
приборы шкалит на грозу;
забавно жить на пяточке,
который всем – бельмо в глазу.

* * *

Кто много ездил, скажет честно
и подтвердит, пускай беззвучно,
что на планете нету места,
где и надёжно, и не скучно.

* * *

Когда, восторжен и неистов,
я грею строчку до кипения,
то на обрез попутных смыслов
нет у меня уже терпения.

* * *

Моя задорная трепливость —
костюм публичности и членства,
а молчаливость и сонливость —
халат домашнего блаженства.

* * *

Так редок час душевного прилива,
ласкающего старческую сушь,
что я минуты эти торопливо
использую на письменную чушь.

* * *

Пока живу, звучит во мне струна —
мучительная, жалобная, лестная;
увы, есть похоть творчества — она
живучей, чем сестра её телесная.

* * *

Шушера, шваль, шантрапа со шпаной —
каждый, однако, с пыльцой дарования —
шляются в памяти смутной толпой
из неразборчивых лет созревания.

* * *

С утра весь день хожу смурной,
тоской дыханье пропиталось,
как будто видел сон дурной
и ощущение – осталось.

* * *

Движение по небу облаков,
какая станет баба кем беременна,
внезапную активность мудаков —
Создатель расчисляет одновременно.

* * *

Скоморошество, фиглярство,
клоунада, шутовство —
мастерства живое царство
и свободы торжество.

* * *

Пусть ходит почва ходуном,
грохочет гром, разверзлись хляби,
но кто родился блядуном —
идёт под молниями к бабе.

* * *

Пространство жизни нами сужено
(опаска, сытость, нет порыва),
а фарта тёмная жемчужина
всегда гнездится у обрыва.

* * *

С утра умылся, выпил кофе
и обвололся дымом серым;
к любой готов я катастрофе,
любым распахнут я химерам.

* * *

В какой ни скроемся пещере,
пока лихие годы минут,
лихое время сыщёт щели,
через которые нас вынут.

* * *

Конторское в бумагах копошение
и снулая семейная кровать —
великое рожают искушение
чего-нибудь поджечь или взорвать.

* * *

Свобода, красота и справедливость
не зря одушевляли нас веками,
мне только неприятна их плешивость
от лапания подлыми руками.

* * *

Когда мы жалуемся, хныча,
мы — бесов лёгкая добыча.

* * *

Кто светел, чист и непорочен,
исполнен принципов тугих,
обычно тяжко заморочен
мечтой улучшить и других.

* * *

Где плоти воздаётся уважение,
и духу достаётся ублажение.

* * *

По жизни всей отпетый грешник
и всехних слабостей свидетель,
отменный быть я мог насмешник,
но я — печальник и жалетель.

* * *

Дивным фактом, что, канув во тьму,
мы в иных обретаемся куцах,
не случилось пока никому
достоверно утешить живущих.

* * *

Взойдёт огонь большой войны,
взыграет бойня дикая,
по чувствам каждой стороны —
святая и великая.

* * *

Где теперь болтуны и задиры,
посылавшие времени вызов?
Занимают надолго сортиры
и дремотно глядят в телевизор.

* * *

Жестокость жизни беспредельна,
слезу не грех смахнуть украдкой,
а вместе с этим нераздельно —
блаженство пьесы этой краткой.

* * *

В пространстве духа тьмой кустисты
углы за светлыми дворами,
там оборотни-гуманисты
стоят обычно с топорами.

* * *

Пока наш век неслышно тает,
душа – болит, а дух – витает.

* * *

Похоже, я немного раздвоился,
при этом не во сне, а наяву:
я тот люблю дурдом, где я родился,
и тот люблю дурдом, где я живу.

* * *

По виду несходства раздор наш понятен,
и зряшны резоны цветистые:
за грязные руки он мне неприятен,
а я ему мерзок – за чистые.

* * *

Чепуху и ахинею
сочиняя на ходу,
я от радости пьянею —
я на выпивку иду.

* * *

Безжалостно двуногое создание,
и если изнутри, не напоказ
в душе у нас родится сострадание —
то кто-то им одаривает нас.

* * *

Со склона круче понесло,
теперь нужны и ум, и чувства,
поскольку старость – ремесло
с изрядной порцией искусства.

* * *

У жизни остаются наслаждения:
ещё перо в чернила я макаю,
и праздные леплю свои суждения,
и слабостям посильно потакаю.

* * *

Мы вместе пили, спорили, курили,
и в радости встречались, и в печали...
Недообщались, недоговорили
и просто мало рядом помолчали.

* * *

Укрыть себя, прильнуть и слиться,
деля душевность и уют, —
как мы везде хотим! Но лица

нас беспощадно выдают.

* * *

Увы, когда покинула потенция,
её не заменяет элоквенция.

* * *

Когда бы вдруг вернуть я смог
то, что терял или пропил,
то царской выделки чертог
я б даже с мебелью купил.

* * *

Есть мысли – очень часто из известных,
несущие заметные следы,
настолько отпечатались на текстах
их авторов чугунные зады.

* * *

Мне кажется, в устройство мироздания,
где многому Творец расчислил норму,
заранее заложены страдания,
а время в них меняет вид и форму.

* * *

Повеял тёмным и нездешним
летучий шёпот мысли грешной,
но дуновением не внешним,
а из душевной тьмы кромешной.

* * *

В повадке, мимике и жесте,
а также в умственной наличности
всегда есть сведения о месте,
где место этой милой личности.

* * *

Я много раз давал зарок
являть недвижимую солидность,
но верю я – наступит срок,
её придаст мне инвалидность.

* * *

Из массы зрительных явлений
люблю я девок на экране:
игра их нежных сочленений
бодрит меня, как соль на ране.

* * *

Витиевато, вяло, выпренно,
косноязыча суть и слово,
пытался высказать я искренно,
как дивно всё и как хуёво.

* * *

Время сыплет медленный песок,
будущим заведуют гадалки,
муза Клио катит колесо
и сама в него вставляет палки.

* * *

Если в мыслях разброд и шатание —
значит, выпивкой скудно питание.

* * *

Совсем уже бедняга – не герой,
а выглядел когда-то победительно,
кого-то ещё трахает порой,
однако же не очень убедительно.

* * *

Нас не тянет в неведомый рай,
наша участь и тут не бедна:
всё, что нам наливают по край,
мы легко выпиваем до дна.

* * *

В утопшей Атлантиде мне таинственно,
что если бы и впрямь она была,
её бы помянули многолиственно
еврейские торговые дела.

* * *

Играет крупно Сатана,
спустившийся с небес:
часть жизни Богом нам дана,
а часть нам дарит бес.

* * *

Нелепо – сразу от порога
судить и предопределять:
чем нынче строже недотрога,
тем послезавтра круче блядь.

* * *

Цветы прельстительного зла
обычно так однообразны,
что только пыльного козла
влекут их жухлые соблазны.

* * *

Хотя я в меру разума и сил
судьбу свою клонил к увеселению,
у Бога я подачек не просил,
а сам Он не давал их, к сожалению.

* * *

Кому-то являясь то быдлом, то сбродом,
надежды вселяя в кого-то,
народ очень редко бывает народом,
он чаще – толпа и болото.

* * *

Мы часто в чаяньях заветных
нуждаемся в совете Божьем,
но знаков от Него ответных
постичь не можем.

* * *

Как волк матёрый на ягнят
взирает издали из леса,
на наших шумных жиденят

тепло глядят глаза прогресса.

* * *

Ни разу я за жизнь мою
не помню злобного порыва
и гнева мутного,
пускай враги мои в раю
сто лет поют без перерыва,
даже минутного.

* * *

Себя трудом я не морочу,
высокий образ не леплю,
и сплю охотно днём. А ночью
весьма охотно тоже сплю.

* * *

Течение жизни нашей плавное
благодаря скучным мыслишкам
приобрело журчанье славное,
нам ничего не надо слишком.

* * *

По жизни дороги окольные,
изгойства надменные корчи
и тёмные мысли подпольные —
рассудка блаженные порчи.

* * *

Уча Талмуд, евреи стрёмные
наглеют в ходе обучения
и Богу шлют не просьбы скромные,
а деловые поручения.

* * *

Прочёл я море умных книг
(хотя люблю я – ахинею),
ни на секунду не возник
во мне восторг, что я умнею.

* * *

Сегодня с мудаками на обеде я
сидел невозмутимо и спокойно;
достоинство участника трагедии —
в умении вести себя достойно.

* * *

Лихой типаж – унылая сиротка.
В компаниях такие молчаливы.
Улыбчивы, но коротко и кротко.
Застенчивы. И дьявольски ебливы.

* * *

Мне кажется давным уже давно,
и мне от понимания приятно:
мы вставлены в какое-то кино,
а кто его снимает – непонятно.

* * *

Мы затем и склонны к окаянству
дёргаться, лететь куда-то страстно,
что, перемещаясь по пространству,
время проживаем не напрасно.

* * *

Чего-то кажется мне, Господи,
(сужу я зряче, без поспешности),
что рай – большой недолгий госпиталь
по излечению безгрешности.

* * *

По городской живя погоде,
набит повадкой городской,
я отношусь к живой природе
с почтеньем, тактом и тоской.

* * *

Бумагу, девственно пустую,
не зря держу я под рукой,
сейчас я чушь по ней густую
пушу рифмованной строкой.

* * *

Когда-то мчался на рысях
я на своих на двух;
теперь едва плетусь – иссяк
и в них задора дух.

* * *

Что делать с обузданием уroda?
Плюя на все укоры и сентенции,
еврей, потенциальный враг народа,
ничуть не расположен к импотенции.

* * *

Мы понимали плохо смолоду,
что зря удача не является:
кто держит Господа за бороду,
тот держит дьявола за яйца.

* * *

Вполне, конечно, молодость права,
что помнить об ушедших нет обычая,
но даже загулявшая вдова —
и та порою плачет для приличия.

* * *

Когда я был совсем бедняк —
а так оно порой бывало,
то всё же не было и дня,
чтоб я не выпил мало-мало.

* * *

Поэты разных уровней, ступеней
и звучностей – в одном ужасно схожи:
пронзительность последних песнопений
морозом отзывается по коже.

* * *

Святые книги умолчали
о важной вещи:
и в малой мудрости
печали —
ничуть не меньше.

* * *

Есть почему-то чувство кражи,
когда разносится слухок
о медицинской запродаже
печёнок, почек и кишок.

* * *

В любом горемычном событии
со временем блекнет основа:
его вспоминая в подпитии,
находишь немало смешного.

* * *

То на душе как будто гири,
то вдруг опять она легка —
везде тоска в подлунном мире
течёт сквозь нас, как облака.

* * *

Беженец, пришлый, чужак —
могут прижиться в народе,
только до смерти свежа
память у них об исходе.

* * *

Так безумна всеобщая спешка,
словно жизни лежат на весах,
и незримая Божья усмешка
над кишеньем висит в небесах.

* * *

Я главным образом от жажды
страдал десятки дивных лет,
я заливал её многожды,
но утоленья нет как нет.

* * *

Когда сидит гавна мешок
и смачно сеет просвещение,
я нюхом чувствую душок
и покидаю помещение.

* * *

По возрасту я вышел на вираж
последний и не столь уже крутой,
хотел бы сохранить я свой кураж
до полного слиянья с темнотой.

* * *

Очень часто нам от разных наших бед —
и обида в их числе, и поражение —
помогает своевременный обед,
возлияние и словоизвержение.

* * *

Уютно и славно живётся в курятнике;
что нужно мне? – стол и кровать;
порой к нам орлы залетают стервятники —
духовную плоть поклевать.

* * *

Я издаю стихи не даром
и вою их, взойдя на сцену,
своим актёрским гонораром
я им удваиваю цену.

* * *

Пускай любой поёт, как кочет,
учить желая и внушать,
но проклят будь, кто всеу хочет
нам нынче выпить помешать.

* * *

Нынче думал о России в полусне:
там весной везде кудрявятся берёзки,
а впитав тепло свободы по весне,
распускаются лихие отморозки.

* * *

Любое в мире текстов появление
таланта между гнили и мудил —
в такое меня вводит умиление,
как если б это я его родил.

* * *

По жизни моё достижение —
умение вмиг и заранее
надеть на лицо выражение,
пристойное духу собрания.

* * *

О чём предупредить они стремятся?
Зачем уже который раз подряд
ушедшие друзья мне ночью снятся
и что-то непонятно говорят?

* * *

Любая дребедень и залепуха,
придуманная сочно и не бледно,
влетая в оттопыренное ухо,
уже не растворяется бесследно.

* * *

Рутины болотная ряска
взрывается вдруг и некстати,
но всякая нервная встряска —
полезна душе в результате.

* * *

Российский нецензурный лексикон —
великое богатство русской речи,
и счастлив я, что капнул в сей флакон
ту каплю, что не долили предтечи.

* * *

Боюсь я, вот-вот прекратится
во мне клокотание звука,
и там, где курлыкала птица,
поселится тёмная скука.

* * *

Я столь же к женским чарам восприимчив,
но менее, чем раньше, предприимчив.

* * *

Смешно слегка для пишущего матом,
но очень ощущения эти часты:
я чувствую себя аристократом
из некой неоформившейся касты.

* * *

Нет, судьба не лепится сама,
много в ней и лично моего:
смолоду не нажил я ума,
а состарясь – выжил из него.

* * *

Еврею строить на песке —
вполне удобно и привычно,
а что висит на волоске,
то долговременно обычно.

* * *

Когда я на прогулки пешие
внутри себя порой хожу,
то там такие бродят лешие,
что криком я себя бужу.

* * *

Когда-нибудь люди посмотрят иначе
на всё, что мы видели рядом, —
текущее время намного богаче
доступного нынешним взглядам.

* * *

Ввиду гигиенических мотивов
любых я избегаю коллективов.

* * *

Есть и радость у старости чинной,
когда всё неозвратно ушло:
перестав притворяться мужчиной,
видишь лучше, как это смешно.

* * *

Мы часто принимаем за харизму
готовность всем на свете вставить клизму.

* * *

Никем, конечно, это не доказано,
однако может чувство подтвердить:
умение терять интимно связано
с умением и даром находить.

* * *

Не часто судьба посылает нам вызов,
и смелость нужна для понятия,
что шанс на удачу высок или низок —
не важно для факта принятия.

* * *

Всё-таки сибирские морозы
вдули в меня лаской милицейской
гомеопатические дозы
тухлой осторожности житейской.

* * *

Когда бы человечеству приспичило,
а я как раз такое изобрёл,
душой бы воспарил я, как орёл,
и чтоб изобретение фурычило.

* * *

Ещё душа в мечтах и звуках,
и крепко мы ещё грешны,
а ген бурлит уже во внуках,
и внукам мы уже смешны.

* * *

Сексуальной игры виртуозы
весь их век до почтенных седин
увлечённо варьируют позы,
но итог – неизменно один.

* * *

Перемешай желток в белке,
и суть блеснёт сама:
в любом отпетом дураке —
полным-полно ума.

* * *

Жаль, не освоил я наук
и не достиг учёных званий,
а жил бы важно, как паук,
на паутине тонких знаний.

* * *

Мышления азартное безделье —
целительно для думающей личности:
всегда в удачной мысли есть веселье —
и даже в постижении трагичности.

* * *

У подряхления убогого
есть утешение лишь то,
что нет уже довольно многого,
но меньше хочется зато.

* * *

Чем были яростней метели,
чем был надрывней ветра вой,
тем чаще я дремал в постели
и укрывался с головой.

* * *

По счастью, мы не полными калеками
из долгой темноты вошли в потёмки,
а в полном смысле слова человеками
уже, возможно, станут лишь потомки.

* * *

Ведя за миром наблюдение,
живу рассеянно и наспех,
великое произведение
создам я позже курам на смех.

* * *

В пространстве умозаключений,
где всюду – чистая страница,
такой простор для приключений,
что и реальности не снится.

* * *

Тупая и пожизненная страсть
отыскивать слова, ловя созвучия,
меня так истрепала и замучила,
что лучше бы умел я деньги красть.

* * *

В синклит учёных я не вхож,
но видно мне без разъяснений:
еврейский гений с русским схож —
они цветут от утеснений.

* * *

Печальный и злокачественный случай,
зовущий собутыльников к терпению:
я мыслящий тростник, но не певучий,
а выпивка меня склоняет к пению.

* * *

Конечно, мы сгораем не дотла,
и что-то после нас ещё витает,
но времени суровая метла
и воздух беспощадно подметает.

* * *

Привычка думать головой —
одна из черт сугубо личных,
поскольку ум как таковой
у разных лиц – в местах различных.

* * *

Нет, я не наслажусь уже моментом,
когда не станет злобы воспалённой,
и выпьют людоед с интеллигентом,
и веточкой занюхают зелёной.

* * *

Со всеми слабостями нашими
душой мы выше в годы низкие,
а беззащитность и бесстрашие —
друзья и верные, и близкие.

* * *

Такие случаются дни
весеннего света и неги,
что даже трухлявые пни
пускают живые побеги.

* * *

Моё существование двояко:
вкушаю дивной жизни благодать,
чтоб тут же с упоением маньяка
бумаге эту радость передать.

* * *

По лесу в тусклом настроении
я брёл, печалюсь о старении,
а меж белеющих берёз
вital рассеянный склероз.

* * *

С утра свободен завтра буду,
ещё запрусь на всякий случай,
и сладостно предамся блуду
словосмесительных созвучий.

* * *

Духом усохли, прибавились в теле
бывшие фавны, бывшие сатиры;
прежде – забавы, застолья, постели,
нынче – аптеки, врачи и сортиры.

* * *

Увы, жестока наша участь:
у века – злобы дух густой,
у денег – малость и текучесть,
у мыслей – вялость и застой.

* * *

В моей читательской игре —
пустые траты,
но вдруг на мёртвом пустыре —
цветок цитаты.

* * *

Стукнет час оборваться годам,
и вино моё будет допито,
а немедля, как дуба я дам,
и Пегас мой откинёт копыта.

* * *

С эпохой долгое соседство
мне по крупинке нанесло
всё, что оставляю я в наследство —
моё там только ремесло.

* * *

Нет, я не изменяюсь, не расту,
живу себе ни шатко и ни валко,
но видно и слепому за версту,
что я не улучшаюсь, – вот ведь жалко.

* * *

Текла, кипела и сочилась
моя судьба – то гнев, то нежность;
со мною всё уже случилось,
осталась только неизбежность.

* * *

Может, мы и неприятней
основного населения,
но хула Творцу занятней,
чем корыстные моления.

* * *

Моё пространство жизни сужено,
о чём печалюсь я не очень:
ведь мы всегда во время ужина
уже вполне готовы к ночи.

* * *

В небо глядя, чтоб развеяться,
я подумал нынче вечером:
если не на что надеяться,
то бояться тоже нечего.

* * *

Много книжек я в жизни прочёл,
и печаль мою каждый поймёт:
мы гораздо бездарнее пчёл —
я лишь горечь собрал, а не мёд.

* * *

Все плоды святого вдохновения —
илистое дно реки забвения.

* * *

Весь мир вокруг уже иной,
у нас – эпоха провожаний,
а бедный стих, зачатый мной,
утонет в море подражаний.

* * *

Не тот мужчина, кто скулит,
что стал постыдный инвалид,
а тот мужчина, кто ни звука
о том, какая это мука.

* * *

Когда впадаешь в созерцание
любых камней, извечно местных,
душе является мерцание
каких-то смыслов бессловесных.

* * *

Бродя по жизненным аллеям,
со вкусом я на свете пожил,
полит был дёгтем и елеем
и сам гавно метал я тоже.

* * *

Боюсь давно уже заранее
и разобрался в сути я:
мне вязкий ужас умирания
страшней, чем страх небытия.

* * *

На стыке пошлости и свинства
сочней кудрявится единство.

* * *

Навряд ли буду удостоен
я с бодрым будущим свидания —
мой стих на жалости настоян
и на печали сострадания.

* * *

Когда-то были темой споров —
свобода, равенство и братство,
сегодня стержень разговоров —
погода, празднество и блядство.

* * *

Прости, жена, прощайте, дети,
мы с вами встретимся потом,
я вас любил на этом свете,
рад буду свидеться на том.

* * *

Я за удачное словцо,
печалям жизни гармоничное,
готов пожертвовать яйцо —
но разумеется, не личное.

* * *

Во всех земных иллюзиях изверясь,
я в полной пустоте себя застал;
явись какая дерзостная ересь,
я с радостью фанатиком бы стал.

* * *

Езжу по миру и смехом торгую —
словно купец при незримом товаре;
сам я сыскал себе долю такую,
редкую даже для мыслящей твари.

* * *

Какая бы и где ни тлела смута,
раздоры и кровавая охота,
настолько это выгодно кому-то,
что пламя раздувают эти кто-то.

* * *

Если жизнь безупречно отлажена
и минует любое ненастье,
непременно объявится скважина,
сквозь которую вытекло счастье.

* * *

Нам жажда свойственна густая —
с толпою слиться заодно,
а стадо это или стая,
понять не сразу нам дано.

* * *

Вчера ко мне забрёл ходячий бред
и жарко бормотал про вред безверия,
на что я возражал, что главный вред
растёт из темноты и лицемерия.

* * *

Дряхлением не слишком озабочен,
живу без воздыханий и стенаний,
чердак мой обветшалый стал непрочен
и сыпется труха воспоминаний.

* * *

Меня почти не беспокоя,
душа таит себя и прячет,
и только утром с перепоя
она во мне болит и плачет.

* * *

Как бы ни орудовало знанием
наше суетливое мышление,
правило и правит мирозданием
хаоса слепое копошение.

* * *

Когда мы ни звонков, ни писем
уже не ждём, то в эти годы
ещё сильнее мы зависим
от нашей внутренней погоды.

* * *

Увы, прервётся в миг урочный
моё земное бытие —
и, не закончив пир полночный,
я отойду в непитиё.

* * *

В нас долго бились искры света,
но он погас;
могила праведника – это
любой из нас.

* * *

Мужчины с женщиной слияние,
являясь радостью интимной,
имеет сильное влияние
на климат жизни коллективной.

* * *

И носы у нас обвисли,
и глаза печальны очень,
камасутренние мысли
исчезают ближе к ночи.

* * *

Фортуна коварна, капризна
и взбалмошна, как молодёжь,
и в анус вонзается клизма,
когда её вовсе не ждёшь.

* * *

Воздержаны в суждениях старики,
поскольку слабосильны и убоги,
однако всем резонам вопреки
в них тихо пузырятся педагоги.

* * *

По счастью, в нас во всех таится
глухое чувство бесшабашное:
у смерти так различны лица,
что нам достанется нестрашное.

* * *

Хотя семейный гнёт ослаб
и стал теплей уют,
но мужики орут на баб,
когда их бабы бьют.

* * *

Во мне звучит, не умолкая
и сердце тиская моё,
глухая музыка – толкая
на поиск текста под неё.

* * *

Где мой гонор, кураж и задор?
Где мой пафос, апломб и парение?
Я плету ахинею и вздор,
не впадая в былое горение.

* * *

Итог уже почти я подытожил
за время, что на свете я гостил:
навряд ли в мире мудрость я умножил,
зато и мало скорби напустил.

* * *

Кто-то рядом, быть может, и около
проживает в полнейшей безвестности,
но дыхание духа высокого —
благотворно пространству окрестности.

* * *

Болезней тяжких испытания,
насколько я могу понять,
шлёт Бог не в целях воспитания,
а чтобы нашу прыть унять.

* * *

Хроника лет начинает виток
будущей травмы земной:
миром испробован первый глоток
новой отравы чумной.

* * *

Сделался вкус мой богаче оттенками,
тоньше, острей, но не строже:
раньше любил я брюнеток с шатенками,
нынче — и крашенных тоже.

* * *

Возле устья житейской реки,
где шумы бытия уже глуше,
ощущают покой старики,
и заметно светлеют их души.

* * *

Восьмой десяток, первый день.
Сохранна речь, осмыслен взгляд.
Уже вполне трухлявый пенёк,
а соки всё ещё бурлят.

* * *

Я книжек — дикое количество
за срок земной успел испечь;
когда не станет электричества,
топиться будет ими печь.

* * *

Огромность скважины замочной
с её экранами цветистыми
даёт возможности заочной,
но тесной близости с артистами.

* * *

Сейчас вокруг иные нравы,
ебутся все напропалую,
но старики, конечно, правы,
что врут про нравственность былую.

* * *

Когда накатит явное везение
и следует вести себя практично,
то совести живое угрызение —
помалкивает чутко и тактично.

* * *

Склад ума еврейского таков,
что раскрыт полярности суждений;
тот же склад – у наших мудаков
с каменной границей убеждений.

* * *

Забавно, как потомки назовут
загадочность еврейского томления:
евреи любят землю, где живут,
ревнивей коренного населения.

* * *

А я б во всех газетах тиснул акт
для всехнего повсюду любования:
«Агрессией является сам факт
еврейского на свете пребывания».

* * *

Во мне так очевидно графоманство,
что я – его чистейшее явление:
пишу не ради славы или чванства,
а просто совершаю выделение.

* * *

Если впрямь существует чистилище,
то оно без конца и без края,
безразмерно большое вместилище
дезертиров из ада и рая.

* * *

Любой росток легонько дёрни
и посмотри без торопливости:
любого зла густые корни —
растут из почвы справедливости.

* * *

Господь, ценя мышление отважное,
не может не беречь мой организм;
я в Боге обнаружил нечто важное:
глобальный, абсолютный похуизм.

* * *

Печальна человеческая карма:
с годами нет ни грации, ни шарма.

* * *

Прихваченный вопросом графомана,
понравилась ли мне его бурда,
я мягко отвечаю без обмана,
что я читать не стал, однако — да.

* * *

Близится, бесшумно возрастая,
вязкая дремота в умирении,
мыслей улетающая стая
машет мне крылами в отдалении.

* * *

Что-то я сдурел на склоне лет,
строки словоблудствуют в куплет,
даже про желудка несварение
тянет написать стихотворение.

* * *

Сегодня присмотреться если строже,
я думал, повесть буйную жуя,
страдальцы и насильники – похожи,
в них родственность повсюду вижу я.

* * *

Уже слетелись к полю вороны,
чтоб завтра павших рвать подряд,
и «С нами Бог!» – по обе стороны,
в обоих станах говорят.

* * *

У многих я и многому учился —
у жизни, у людей и у традиций,
покуда, наконец, не наловчился
своим лишь разумением обходиться.

* * *

С интересом ловлю я детали
наступающей старческой слабости:
мне стихи мои нравиться стали
и хуле я внимаю без радости.

* * *

Я никого не обвиняю,
но горьки старости уроки:
теперь я часто сочиняю

свои же собственные строки.

* * *

Уверен я: в любые времена,
во благе будет мир или в беде,
но наши не сотрутся имена —
поскольку не написаны нигде.

* * *

Согревши воду на огне,
когда придёшь домой,
не мой, красавица, при мне
и при других не мой.

* * *

Радость понимать и познавать
знают даже нищий и калека,
плюс ещё возможность выпивать —
тройственное счастье человека.

* * *

Сколь ни обоюдна душ истома,
как бы пламя ни было взаимно,
женщина в её постели дома —
более к любви гостеприимна.

* * *

Мир земной запущен, дик и сложен,
будущее – зыбко и темно,
каждый перед хаосом ничтожен,
а вмешаться – Богом не дано.

* * *

Судьба среди иных капризов,
покуда тянется стезя,
вдруг посылает жёсткий вызов,
и не принять его – нельзя.

* * *

Все в мысли сходятся одной
на счёт всего одной из наций:
еврей, настигнутый войной,
обязан не сопротивляться.

* * *

Не слушая кипящей жизни шум,
минуя лжи возведенный гранит,
опавшую листву я ворошу —
она остатки памяти хранит.

* * *

Для мысли слово – верный друг,
дарящий мысли облик дерзкий,
но есть слова – от подлых рук,
на них следы и запах мерзкий.

* * *

Тихо поумнев на склоне лет,
я хваюсь не всем перед гостями:
есть и у меня в шкафу скелет —
пусть пока побрякает костями.

* * *

Ласкали нежные уста
нам на весеннем карнавале
весьма различные места,
но до души – не доставали.

* * *

В любую речь для аромата
и чтобы краткость уберечь,
добавить если каплю мата —
намного ярче станет речь.

* * *

Давно уж море жизни плещет,
неся челнок мой немудрёный,
а небо хмурится зловеще,
и точит море дух ядрёный.

* * *

По мере личного сгорания
душе становятся ясней
пустые хлопоты старания
предугадать, что станет с ней.

* * *

Когда несёшься кувырком
в потоке чёрных дней,
то притворяться дураком
становится трудней.

* * *

Бог людям сузил кругозор
для слепоты как бы отсутствия,
чтобы не мучил нас позор
и не сжигала боль сочувствия.

* * *

Среди всемирных прохиндеев
и где клубится крупный сброд —
заметно много иудеев:
широк талантом наш народ.

* * *

Как робко это существо!
Он тихий, вдумчивый и грустный.
Но гложет жизни вещество,
как ест червяк листок капустный.

* * *

Когда раздора мелкий вирус
неслышно селится меж нас,
не замечаешь, как он вырос
и стал заразней в сотни раз.

* * *

Как это странно: все поэты
из той поры, наивно-дымчатой,
давно мертвы. Их силуэты
уже и в памяти расплывчаты.

* * *

Являя и цинизм, и аморальность,
я думаю в гордыне и смущении:
евреи – объективная реальность,
дарованная миру в ощущении.

* * *

На свете очевидны территории,
охваченные внутренним горением,
где плавное течение истории
сменяется вдруг диким завихрением.

* * *

Я очень тронут и польщён
высоким Божьим покровительством,
однако сильно истощён
своим ленивым долгожительством.

* * *

Разъезженная жизни колея
не часто вынуждает задыхаться —
на мелкие превратности плюя,
вполне по ней приятно бултыхаться.

* * *

Чтобы сгинула злая хандра
и душа организм разбудила,
надо вслух удивиться с утра:
как ты жив ещё, старый мудила?

* * *

Люди молятся, Бога хваля,
я могу лишь явить им сочувствие;
Бог давно уже знает, что я
уважаю Его за отсутствие.

* * *

Я в жизни ничего не понимаю —
запутана, изменчива, темна,
но рюмку ежедневно поднимаю
за то, чтобы продолжилась она.

* * *

В атаке, в бою, на бегу
еврей себя горько ругает:
еврей когда страшен врагу,
его это тоже пугает.

* * *

История капризна и причудлива,
симпатии меняет прихотливо,
играющий без риска и занудливо —
не друг и не любовник музе Клио.

* * *

Со времён чечевичной похлёбки
каждый стал боязлив и опаслив,
но росло и искусство наёбки:
тот, кого наебли, нынче счастлив.

* * *

Хотя война у нас – локальная,
но так еврей за всё в ответе,
что извергается фекальная
волна эмоций по планете.

* * *

Мне близкий друг принёс вино,
чтоб тонкий вкус во мне копился,
меня растрогало оно,
и грубым виски я напился.

* * *

Муза тихо бесится, ища,
чем и как поэта взволновать,
а его, гулящего хлыща,
девка затащила на кровать.

* * *

Кто своей персоной увлечён,
с пылкостью лелея дарование,
рано или поздно обречён
на тоску и разочарование.

* * *

Когда был молод и здоров,
когда гулял с людьми лихими,
я наломал немало дров —
зато теперь топлю я ими.

* * *

Домашним покоем доволен,
лежу то с журналом, то без,
и с ужасом думаю: болен
во мне проживающий бес.

* * *

С работой не слишком я дружен,
таскать не люблю я вериги,
но это наркотик не хуже,
чем выпивка, бабы и книги.

* * *

Браня семейной жизни канитель,
поведал мне философ за напитком:
супружеская мягкая постель —
мечта, осуществлённая с избытком.

* * *

Характер наших жизненных потерь
похож у всех ровесников вокруг,
утраты наши – крупные теперь:
обычно это близкий старый друг.

* * *

Совсем не зная, что частушки —
весьма опасная потеха,
я их читал одной толстушке,
толстушка лопнула от смеха.

* * *

Хотя предчувствие дано
и для счастливых потрясений,
в нас ограничено оно
шуршаньем тёмных опасений.

* * *

Реальность соткана из истин
такой банальности,
что дух, который не корыстен, —
изгой реальности.

* * *

А пока тебе хворь не грозит,
возле денег зазря не торчи,
нынче девки берут за визит
ровно столько же, сколько врачи.

* * *

Натолкнувшись на рифму тугую,
подбираю к ней мысли я строго —
то одну отберу, то другую,
и от этого думаю много.

* * *

Любви жестокие флюиды
разят без жалости и скидок,
весною даже инвалиды
себе находят инвалидок.

* * *

На небо в полной неизвестности
подобно всем я попаду,
сориентируюсь на местности
и вмиг пойму, что я в аду.

* * *

Иллюзия, мираж и наваждение —
такое оптимизму подаяние,
такое для надежды услаждение,
что больно, когда гаснет обаяние.

* * *

Ручьи весенние журчат,
что даль беременна грозой,
на подрастающих внучат
старушки смотрят со слезой.

* * *

Самые великие открытия,
истину даруя напрямик,
делались по прихоти наития,
разум подменявшего на миг.

* * *

Есть люди, чьи натуры певчие —
пушинки духа в жизни мчащейся,
со всем, что есть, расстаться легче им,
чем с этой музыкой сочащейся.

* * *

Поблажек у стихии не просил
в местах, её безумием простроченных,
однако же всегда по мере сил
наёбывал её уполномоченных.

* * *

С возрастом сильней у нас терпение,
выдержан и сдержан аксакал;
просто это выдохлось кипение
и душевный снизился накал.

* * *

У секса очень дальняя граница,
но дух у старика – слабей, чем тело,
и тянет нас от секса уклониться,
поскольку уже просто надоело.

* * *

Стали нам застолья не с руки:
сердце, нету сил, отёки ног,
и звонят друг другу старики,
что ещё увидимся, даст Бог.

* * *

Подземные гулы и громы
слышнее душе на закате,
Харон уже строит паромы,
ему его лодки – не хватит.

* * *

Все текущие беды и сложности
сотворяются, эка досада,
из-за полной для нас невозможности
вынуть шило и пламя из зада.

* * *

Мы в юности шустрили, свиристя,
дурили безоглядно и отпето,
и лишь десятилетия спустя
мы поняли, как мудро было это.

* * *

Сегодня почему-то без конца
я думаю о жизни в райских кущах:
как жутко одиночество Творца
среди безликих ангелов поющих!

* * *

Есть нечто умирительно-сердечное,
и просится душа из тела вон,
когда во мне разумное и вечное
пытается посеять мудозвон.

* * *

Всех печатных новинок ты в курсе,
и печалит меня лишь одно:
у кого заковыка во вкусе —
безошибочно любит гавно.

* * *

Читал во сне обрывки текста
и всей душой торжествовал;
и сон исчез; болело место,
о коем текст повествовал.

* * *

Люди, до глубоких тайн охочие,
знают, как устроена игра:
или будет Божье полномочие,
или не нароешь ни хера.

* * *

Иная жизнь вокруг течёт,
иной размах, иная норма,
нам воздаваемый почёт —
прощанья вежливая форма.

* * *

Не разбираюсь я во многом,
достойном острого внимания,
поскольку в разуме убогом
нет сил уже для понимания.

* * *

К судьбе моё доверие не слепо,
и я не фаталист в подвижной клетке,
живой душе надеяться нелепо
на милости бесчувственной рулетки.

* * *

Еврейский Бог весьма ревнив
и для Него – любой греховен:
ведь даже верность сохранив,
ты в тайном помысле виновен.

* * *

Я все утраты трезво взвесил,
прикинул риск от а до я
и стал от дивной мысли весел:
теперь законна лень моя.

* * *

К России я по-прежнему привязан,
хоть ездить без охоты стал туда,
теперь я ей чувствительно обязан
за чувство непрестанного стыда.

* * *

Истории бурлящая вода
сметает все преграды и плотины,
а думать, что течёт она туда,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.